815603

2

813603

4232

Л. ШЕСТОВЪ

ДОБРО

ВЪ УЧЕНІИ

гр. Толстого и ф. Нитше

(Философія и проповѣдь)

Сар. 82, 38-100

Цѣна 1 р.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ М. В. ПИРОЖКОВА
1907

ФОНД

М. В. ПИРОЖКОВЪ

Спб., В. О., Большой пр., д. 6

(„Литературная Книжная Лавка“)

ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

Изданія 1906 и 1907 г. г.:

1) БЕРДЯЕВЪ, НИКОЛАЙ. Sub specie aeternitatis. Опыты философскіе, соціальные и литературные (1900—1906 г.). 2 р.

2) БОГОЗДИНЪ, А. К. (ред.). Изъ писемъ и показаній декабристовъ. Критика современнаго состоянія Россіи и планы будущаго устройства. 1 р. 25 к.

3) БРИКНЕРЪ, А. Г. Смерть Павла I. Переводъ съ нѣм. *М. Чепинской*, со статьею *В. И. Семевскаго*. 1 р. 25 к.

4) БУРКГАРДТЪ, ЯКОВЪ. Культура Италіи въ эпоху Возрожде[illegible] съ 8-го изданія, [illegible] тома 5 р.

5) [illegible] *мъ М. И.*

6) [illegible]

7) [illegible] ртая книга

8) [illegible] зовъ. 2-ое

9) [illegible] и кресть-

10) [illegible] москов- [illegible] ва, обви- [illegible] Е, и рѣчь [illegible] полненное

11) [illegible] ь. Полный

12) [illegible] *Пушкинъ.*

13) [illegible] 1 р. 25 к.

[illegible] томахъ, [illegible] ка *Н. К.* [illegible] *Венгеро-* [illegible] геліогра- [illegible] страціями

16) [illegible]

17) „ Первая Государственная Дума. 1 р.

18) МОГИЛЯЧСКІЙ, П. М. Интернаціоналъ. Очерки рабочаго движенія второй половины XIX в. 15 к.

Пр. 2010

813603

4232.2
17:[1(Ницше)+
+1(Толст

Л. ШЕСТОВЪ

ДОБРО

ВЪ УЧЕНІИ

гр. Толстого и ф. Нитше

(Философія и проповѣдь)

Проверено 1935 г.

Проверено 1936 г.

пр. 1—48

Цѣна 1 р.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ М. В. ПИРОЖКОВА
1907

Ю3
Ш 52

(2)6-63 + Ю3(4Ге)6

Пр. 1940

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского
Госуниверситета
г. Свердловск

813603

Предисловіе

Въ главѣ VII этой книги читатель найдетъ слѣдующій отрывокъ изъ одного частнаго письма Бѣлинскаго: „еслибы мнѣ и удалось взлѣсть на верхнюю ступень лѣстницы развитія—я и тамъ бы попросилъ васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи Филиппа II-го и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братьевъ по крови. Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи“. Эти строки приведены мною отнюдь не для того, чтобы поддержать высказываемыя мною мысли авторитетомъ знаменитаго писателя. Наоборотъ—для меня ясно, что авторитетъ Бѣлинскаго-писателя не за, а противъ меня. Чтобъ сослаться на него, мнѣ пришлось обратиться не къ его сочиненіямъ, а къ перепискѣ. Но и это можетъ показаться страннымъ, если припомнить, что приводимый здѣсь отрывокъ уже не разъ цитировался въ русской литературѣ писателями всевозможнѣйшихъ направленій. Что же это за загадочныя слова, на которыхъ сошлись люди самыхъ различныхъ убѣжденій? Быть можетъ, заключающаяся въ нихъ мысль слишкомъ обща и неопредѣленна, т. ч. поддается многообразнымъ толкованіямъ? На мой взглядъ—нѣтъ. На мой взглядъ, едва ли во всемъ, что писалъ когда-либо Бѣлинскій, можно найти еще одно мѣсто, въ которомъ ему бы удалось яснѣе и опредѣленнѣе выразиться. И все-таки, несмотря на ясный смыслъ ничѣмъ не затемненныхъ и простыхъ вы-

раженій, различныя толкованія этого письма оказались возможными. Никто изъ цитировавшихъ этотъ отрывокъ не замѣтилъ даже, что высказанная тамъ мысль находится въ самомъ рѣзкомъ, вопіющемъ противорѣчіи со всѣмъ тѣмъ, что говорилъ Бѣлинскій въ своихъ критическихъ статьяхъ. Это письмо истолковывалось въ томъ же смыслѣ, въ какомъ истолковывалась его горячая литературная проповѣдь, даже его письмо къ Гоголю. И здѣсь, какъ во всемъ, что исходило отъ Бѣлинскаго, хотѣли видѣть только великаго идеалиста, возвышающаго свой властный голосъ въ защиту гуманности, человѣчности, добра. Онъ отвергаетъ философію и Гегеля въ виду того, что они предлагаютъ ему удовлетвориться по поводу гибели сотенъ Ивановъ совершенствомъ одного Петра! Въ этой требовательности хотѣли видѣть и видѣли лишь своеобразное выраженіе запросовъ справедливой и гуманной человѣческой души. По этому самому прощалась, даже не замѣчалась, парадоксальная, въ сущности нелѣпая, возмутительно нелѣпая форма, въ которую Бѣлинскій облекъ свою мысль. И въ самомъ дѣлѣ, какое удовлетвореніе можетъ дать Гегель Бѣлинскому за каждую жертву исторіи, Филиппа II и т. п.? Если Филиппъ II сжегъ на кострѣ кучу еретиковъ, то требовать теперь за нихъ отчета—безсмысленно. Они изжарились и ихъ дѣло безвозвратно, непоправимо, навсегда окончено. Тутъ уже никакой Гегель не поможетъ и заявлять протесты, негодовать, требовать отчета отъ всей вселенной по поводу замученныхъ и безвременно погибшихъ людей, очевидно, уже поздно. Нужно либо прямо отвернуться отъ всѣхъ этихъ печальныхъ исторій, либо, если хочешь, чтобъ въ твою теорію необходимо вошли всѣ существенные элементы, изъ которыхъ складывается человѣческая жизнь—придумать что-либо въ родѣ общей гармоніи, т.-е. круговой поруки человѣчества и засчитывать въ пассивъ Ивана активъ Петра, либо совсѣмъ бросить всякія подсчитыванія итоговъ жизни отдѣльныхъ людей и, переименовавъ разъ на всегда человѣка въ „индивидуумы“, признать, что высшая цѣль въ какомъ-либо общемъ принципѣ, и что этому принципу „индивидуумы“ должны быть приносимы въ жертву. Тогда паѳосъ окончится и начнется философія, на-

стоящая, всеобъемлющая философія, въ которой вполнѣ точно и опредѣленно будетъ выяснено, почему Филиппъ и исторія терзали и терзаютъ людей и, ежели что-нибудь останется проблематическимъ, то развѣ нѣсколько вопросовъ теоріи познанія, о пространствѣ и времени, причинности и т. д. Но съ этими вопросами, какъ извѣстно, время терпитъ. Если для нихъ еще не подысканы настоящія объясненія—можно пока обойтись гипотезами. Вѣдь и возникли они, какъ и вся философія, если вѣрить Аристотелю, διὰ τὸ θαυμάζειν [1]). Ну, а чтобы удовлетворить истекающей изъ удивленія любознательности, вовсе уже не такъ непремѣнно нужно найти „истину“. Скорѣй наоборотъ, „Истина“, въ сущности, не нужна. Если бы она оказалась внезапно отысканной—это былъ бы очень непріятный сюрпризъ. По крайней мѣрѣ, Лессингъ такъ утверждалъ (а онъ зналъ, что говорилъ), когда просилъ Бога, чтобъ Онъ истину оставилъ при себѣ, а человѣку сохранилъ бы его способность заблуждаться и искать. Но Бѣлинскій, вѣчный ученикъ европейскихъ учителей, очевидно, наединѣ съ собой или въ непредназначенной для публики частной бесѣдѣ, думалъ и говорилъ иначе. Онъ уже не хотѣлъ однихъ исканій—онъ требовалъ всей, полной истины и горячо протестовалъ противъ традицій своихъ учителей.

Это былъ опасный протестъ. Опасный потому, что онъ грозилъ прежде всего самому „идеализму“ Бѣлинскаго. Ибо въ чемъ сущность и психологическая основа идеализма? Человѣкъ вѣритъ, что всѣ его сомнѣнія, вопросы, исканія—только дѣло времени. Все это уже давно окончательно и очень хорошо порѣшено; нужно только удосужиться или умственно вырости, чтобъ обстоятельно разъяснить и себѣ то, что другіе давно знаютъ. Оттого-то естественной почвой, на которой удачнѣе всего произрастаетъ идеализмъ, оказывается молодая культура, если ей приходится развиваться въ сосѣдствѣ съ болѣе зрѣлой цивилизаціей. Даже въ семьяхъ младшіе члены обыкновенно выходятъ „идеалистами“, принимающими на вѣру „убѣжденія“ старшихъ, уже больше

---

[1]) Изъ удивленія.

знающихъ, болѣе опытныхъ, болѣе искусныхъ во всемъ и болѣе совершенныхъ братьевъ. Каждое слово взрослаго человѣка представляется таинственно содержательнымъ ребенку. Чѣмъ непонятнѣй и недоступнѣй оно, тѣмъ болѣе соблазняетъ оно юный умъ, который видитъ въ немъ источникъ силы и превосходства старшаго. Молодая Россія долгое время стояла именно въ такомъ отношеніи къ Западу. Каждое, приходившее оттуда, слово казалось священнымъ. Этимъ, главнымъ образомъ, обусловливается идеалистическое направленіе нашей литературы вообще и Бѣлинскаго—въ частности. Старшій Западъ былъ несомнѣнно умнѣе, богаче, красивѣе насъ. И мы полагали, что причина тому—его знаніе, его опытъ. Мы вѣрили, что есть у него „слово“, которымъ онъ разрѣшитъ все. И этого слова мы искали въ его наукѣ, которую начали обоготворять много раньше, чѣмъ узнали ее. Какъ ужасно должно было быть разочарованіе каждаго идеалиста послѣ того, какъ при болѣе основательномъ разсмотрѣніи своей святыни, онъ убѣждался, что она—не „истина“, а „исканіе истины“!

Въ этомъ разочарованіи и смыслъ обсуждаемаго здѣсь письма Бѣлинскаго. Отсюда его странныя, невыполнимыя требованія къ Гегелю. Если бы Гегель прочелъ это письмо, онъ бы назвалъ Бѣлинскаго дикаремъ. Требовать отъ философіи, чтобы она дала отчетъ за каждую жертву исторіи! Да развѣ это ея дѣло?! И, затѣмъ, развѣ вообще можно, должно, нужно являться съ такого рода требованіями къ кому бы то ни было?! Правда, Гегель утверждалъ, что дѣйствительность разумна. Но не вина Гегеля, если Бѣлинскій истолковывалъ его слова въ томъ смыслѣ, что „правдѣ“ гарантирована побѣда на землѣ. Совсѣмъ не то. Гегель вѣдь и самъ былъ идеалистомъ. Нѣмцы, какъ и русскіе, тоже имѣли свой Западъ и научились въ свое время вѣрить въ идеи. Только они были основательнѣе, прочнѣе въ своей вѣрѣ—это уже дѣло характера и національныхъ особенностей—и потому не иначе подходили къ своей святынѣ, какъ съ преклоненными колѣнями и ничего отъ нея не требовали. „Дѣйствительность разумна“ у Гегеля значило только, что наука должна быть поставлена впереди всего и что, слѣдовательно,

жизнь во что бы то ни стало должна быть изображенной, какъ вполнѣ соотвѣтствующая требованіямъ разума. Пусть на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ—идеалистъ объ этомъ не заботится—главное, чтобы съ каѳедры, изъ книгъ эта истина всегда возвѣщалась. Нѣмецкіе идеалисты какъ нельзя болѣе понимали своихъ учителей. Въ искусствахъ, въ наукахъ (даже въ общественныхъ и историческихъ) дѣйствительность обрабатывалась такимъ образомъ, что она постоянно свидѣтельствовала во славу человѣческаго разума, который и до сихъ поръ въ Германіи продолжаетъ гордиться своими a priori. Идеализмъ торжествовалъ и до сихъ поръ продолжаетъ торжествовать въ этой удивительной странѣ. И вдругъ на сцену является Бѣлинскій и требуетъ отчета у вселенной за каждую жертву исторіи! За каждую—слышите? Онъ не хочетъ уступить за всѣ міровыя гармоніи ни единаго человѣка, обыкновеннаго, средняго, простого человѣка, которыхъ, какъ извѣстно, историки и философы считаютъ милліонами, въ качествѣ пушечнаго мяса прогресса. Это уже не гуманность и не идеализмъ, а что-то иное. Нѣмецкіе историки и философы тоже гуманны. Послѣ того, когда дѣла прогресса улажены, они очень охотно хлопочутъ о жертвахъ исторіи,—но это все, что требуется, что можетъ требоваться гуманностью. Еще, пожалуй, отъ нихъ можно добыть обѣщанія на счетъ будущаго: какъ извѣстно, наука обѣщаетъ, что въ будущемъ жертвъ уже не понадобится и когда-нибудь да прекратится то нелѣпое движеніе исторіи, при которомъ условіемъ успѣха одного человѣка являются цѣлыя гекатомбы изъ другихъ людей. Это все, чѣмъ располагаетъ наука въ утѣшеніе жертвамъ. Въ будущемъ обѣщается обязательное счастіе рѣшительно всѣхъ людей. Бѣлинскій это знаетъ очень хорошо. Онъ самъ это разсказываетъ—и какъ краснорѣчиво — въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ; но наединѣ съ собой онъ возмущается собственнымъ паѳосомъ. Онъ не только не хочетъ отдавать настоящихъ, живыхъ людей въ жертву тѣмъ людямъ, которые имѣютъ народиться черезъ сто или тысячу лѣтъ—онъ вспоминаетъ давно загубленныхъ въ пыткахъ людей далекаго прошлаго и требуетъ за нихъ удовлетворенія. Что это не простая гуманность—надѣюсь, болѣе чѣмъ очевидно. Гу-

манность должна смягчать, успокаивать, примирять людей на опредѣленной дѣятельности въ пользу ближняго. Короче, гуманность—отвѣчаетъ, даетъ отвѣты на вопросы. Бѣлинскій же—спрашиваетъ и такъ спрашиваетъ, что его вопросъ грозитъ сбить съ толку самыхъ вѣрующихъ идеалистовъ.

Ибо, если дозволительно такъ спрашивать, то можетъ статься, даже почти навѣрное, что отвѣтить совсѣмъ и не придется или что за отвѣтомъ нужно будетъ идти въ такія области, которыхъ идеализмъ боится больше, чѣмъ самыхъ ужасныхъ пустынь. Здѣсь обычная формула идеализма можетъ получить обратный смыслъ. „Дѣйствительность разумна“ придется истолковывать не такъ, что ее слѣдуетъ сдабривать и обряжать до тѣхъ поръ, пока „разумъ“ не найдетъ ее устроенной по своимъ законамъ, а такъ, что „разуму“ придется принять отъ нея, взамѣнъ старыхъ a priori, новыя a posteriori. Понимаете ли вы, какой отсюда выходъ? Можетъ быть, что, если въ этой дѣйствительности не найдется гуманности, иными словами, если не съ кого будетъ требовать отчета за жертвы Филиппа, то разуму совсѣмъ придется отказаться отъ своихъ великодушныхъ принциповъ и отыскать себѣ иной законъ... И вообще, если дѣйствительность разумна, если отъ нея нельзя отказываться, если ее нельзя отрицать, если ее нужно принимать, уважать—то не есть ли выходъ отсюда—квіетизмъ, то страшное слово, которымъ до сихъ поръ отпугивались отъ разныхъ теорій самые смѣлые люди?

Всего этого „неистовый Виссаріонъ“ не разсказываетъ своимъ читателямъ. Все это держится подъ строжайшей тайной въ лабораторіи писательской души. Въ статьяхъ же „неистовство“ претворяется въ смѣлую, живую, свѣтлую вѣру, въ вѣру въ будущее, въ лучшее будущее, которое приведетъ когда-нибудь съ собой наука. Сомнѣнія оставляются дома и тамъ забываются за преферансомъ. Публикѣ знать всего этого не нужно. Не нужно ей знать и того, что учитель пишетъ свои статьи за одинъ почти присѣстъ, чуть ли не въ порывѣ самозабвенія. Вообще ей не слѣдуетъ слишкомъ много знать. Ей требуются идеалы и тотъ, кто хочетъ служить ей, обязанъ

во что бы то ни стало поставлять ихъ. Старая исторія! Писатель подобенъ раненой тигрицѣ, прибѣжавшей въ свое логовище къ дѣтенышамъ. У нея стрѣла въ спинѣ, а она должна кормить своимъ молокомъ безпомощныя существа, которымъ дѣла нѣтъ до ея роковой раны. И у Бѣлинскаго была такая рана—о ней свидѣтельствуетъ и его „неистовство“ и приведенное письмо, и преферансъ,—но, тѣмъ не менѣе, до конца жизни онъ безсмѣнно стоялъ на своемъ посту и дѣлалъ свое дѣло.

Въ Россіи существовало крѣпостное право—не только въ сводѣ законовъ, но и въ сердцахъ людей; въ Россіи было еще многое другое въ томъ же родѣ. Ей нуженъ былъ публицистъ, солдатъ. Бѣлинскому некогда было отрываться отъ своей службы, ему нельзя было думать о своей стрѣлѣ. И онъ самъ всегда готовъ былъ бороться съ тѣми, кто не приходилъ къ нему активно на помощь.

Въ этомъ смыслѣ я и сказалъ, что авторитетъ Бѣлинскаго-писателя не за, а противъ меня. Но всему приходитъ свой чередъ. Быть можетъ, въ данный моментъ тактика Бѣлинскаго была бы въ такой же мѣрѣ неумѣстна, въ какой она была законна и необходима въ его время. Быть можетъ—теперь молчать о томъ, о чемъ молчалъ онъ, было бы не подвигомъ, а преступленіемъ. Хотя мы и не знаемъ до сихъ поръ, есть ли дерево познанія также и дерево жизни, но для насъ уже выбора нѣтъ. Мы вкусили отъ плодовъ перваго и теперь—хотимъ не хотимъ—намъ приходится приподнимать завѣсу надъ тайной, которую такъ тщательно скрывалъ Бѣлинскій, и говорить публично о томъ, о чемъ онъ говорилъ только наединѣ со своими близкими друзьями.

Л. Ш.

Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche über ihrem Mitleiden ist!

F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. (*Von den Mitleidigen*).

I

Въ своей книгѣ „Что такое искусство“ графъ Толстой не въ первый уже разъ, но со всей страстностью впервые вступившаго въ борьбу человѣка обрушивается на современное общество. Книга называется „Что такое искусство“, но не нужно особой проницательности, чтобы понять, что не въ искусствѣ дѣло и что не оно занимаетъ собою ея автора. Гр. Толстой говоритъ, что сочиненіе это задумано имъ еще 15 лѣтъ тому назадъ, но что оно не могло быть доведено до конца, потому что мысли по этому предмету не были еще и для него самого вполнѣ ясны. Въ сущности это не совсѣмъ такъ. 15 лѣтъ тому назадъ появилась въ печати статья гр. Толстого, называемая „Мысли, вызванныя перепиской въ Москвѣ“ —и въ ней уже основныя положенія „Что такое искусство“ были высказаны вполнѣ. Та душевная буря, которая оторвала гр. Толстого отъ русской интеллигенціи и унесла его къ инымъ берегамъ, гдѣ онъ научился говорить странныя и чуждыя намъ слова,— дѣло давно минувшихъ дней. „Что такое искусство“— лишь заключительное слово длинной проповѣди, начатой много лѣтъ тому назадъ. Я говорю „проповѣди“, ибо всѣ произведенія послѣднихъ годовъ гр. Толстого, даже художественныя, имѣютъ исключительную задачу: сдѣлать выработанное имъ міровоззрѣніе обязательнымъ для всѣхъ людей. Такое стремленіе уже рѣзко проявилось

въ „Аннѣ Карениной“. Эпиграфомъ къ ней служитъ евангельскій стихъ: „Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ“. Мы привыкли его истолковывать въ томъ смыслѣ, что окончательный судъ надъ людьми можетъ и долженъ быть произнесенъ не человѣкомъ, и что удача или неудача нашей земной жизни не служитъ доказательствомъ правоты или неправоты нашей. Но въ „Аннѣ Карениной“ чувствуется совершенно иное пониманіе евангельскаго текста. Уже въ этомъ романѣ гр. Толстой не только изображаетъ человѣческую жизнь, но судитъ людей. И судитъ не такъ, какъ долженъ судить безпристрастный, спокойный судья, не вѣдающій жалости, но не знающій и гнѣва, а какъ человѣкъ, глубоко и страстно заинтересованный въ исходѣ разбираемаго имъ процесса. Каждая строчка этого замѣчательнаго произведенія направлена противъ невидимаго, но опредѣленнаго врага или въ защиту невидимаго же, но тоже вполнѣ опредѣленнаго союзника. И, чѣмъ сильнѣе врагъ, тѣмъ острѣе и утонченнѣе оружіе, посредствомъ котораго побиваетъ его гр. Толстой, тѣмъ искуснѣе, сложнѣе, незамѣтнѣе работа, посредствомъ которой подкапывается подъ него авторъ. Степанъ Аркадьевичъ Облонскій побивается легко—ироническими замѣчаніями, комическими затрудненіями, въ которыя онъ каждый разъ попадаетъ. Каренинъ—уже посерьезнѣй, но и съ нимъ, сравнительно, немного приходится хлопотать. Иное дѣло—Вронскій и Кознышевъ. Это люди покрупнѣе; если они не могутъ по собственной иниціативѣ создать что-либо новое, то зато они умѣютъ развить достаточно силы, чтобы поддержать то и тѣхъ, что и кого считаютъ своими. Ими держится извѣстный строй; они—столпы, устойчивость которыхъ гарантируетъ прочность всего зданія. И на нихъ гр. Толстой обрушивается со всей силой своего громаднаго дарованія. Не только вся дѣятельность —вся жизнь ихъ сведена на нѣтъ. Они и борются, и хлопочутъ, и увлекаются—но все это оказывается чѣмъ-то вродѣ бѣганья бѣлки въ колесѣ. Они служатъ какому-то безсмысленному идолу, имя которому—тщета. Послушайте,

какъ характеризуетъ гр. Толстой нравственныя убѣжденія Вронскаго: „Жизнь Вронскаго тѣмъ была особенно счастлива, что у него былъ сводъ правилъ, несомнѣнно опредѣляющихъ все, что должно и не должно дѣлать... Правила эти несомнѣнно опредѣляли,—что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно,—что лгать не надо мужчинамъ, а женщинамъ можно, что обманывать нельзя никого, а мужа можно, что нельзя прощать оскорбленій, но оскорблять можно". Вы видите, что, по мнѣнію автора, источникъ нравственныхъ побужденій Вронскаго —пустые общественные предразсудки. Съ Кознышевымъ то же или почти то же. Его увлеченія—есть только модная подражательность. Его душевная работа—поверхностная дѣятельность ума, которая тѣмъ меньше значитъ, чѣмъ полнѣе и послѣдовательнѣе она выражается. Итогъ его жизни—никому не нужная книга, остроумные разговоры въ гостинныхъ и безполезное участіе въ различныхъ частныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ. Вронскій и Кознышевъ — это все, что могъ найти гр. Толстой среди призванныхъ имъ къ суду представителей русскаго интеллигентнаго общества новаго времени. Къ нимъ присоединяются еще мимоходомъ очерченныя фигуры—но все это люди незначущіе и не могущіе сказать свое опредѣленное слово читателямъ.

Но послѣднимъ и главнымъ подсудимымъ, по поводу котораго, очевидно, и приведенъ въ началѣ книги евангельскій стихъ—является Анна. Ее ждетъ отмщеніе, ей воздастъ гр. Толстой. Она согрѣшила и должна принять наказаніе. Во всей русской, а, можетъ быть, и въ иностранной литературѣ ни одинъ художникъ такъ безжалостно и спокойно не подводилъ своего героя къ ожидающей его страшной участи, какъ это сдѣлалъ гр. Толстой въ своемъ романѣ съ Анной. Мало сказать безжалостно и спокойно —съ радостью и торжествомъ. Позорный и мучительный конецъ Анны для графа Толстого—отрадное знаменіе. Убивши ее, онъ приводитъ Левина къ вѣрѣ въ Бога и заканчиваетъ свой романъ. Если бы Анна могла пережить свой позоръ, если бы

у нея осталось сознаніе своихъ человѣческихъ правъ и она умерла не раздавленной и уничтоженной, а правой и гордой, у гр. Толстого была бы отнята та точка опоры, благодаря которой онъ могъ сохранить свое душевное равновѣсіе. Предъ нимъ явилась альтернатива—Анна или онъ самъ, ея гибель или его спасеніе. И онъ пожертвовалъ Анной, которая при живомъ мужѣ пошла за Вронскимъ. Гр. Толстой отлично чувствуетъ, что это за мужъ для Анны—Каренинъ; какъ никто, онъ описываетъ весь ужасъ положенія даровитой, умной, чуткой и живой женщины, прикованной узами брака къ ходячему автомату. Но узы эти ему нужно считать обязательными, священными, ибо въ существованіи обязательности вообще онъ видитъ доказательство высшей гармоніи. И на защиту этой обязательности онъ возстаетъ со всей силой своего художественнаго генія. Анна, нарушившая „правило“, должна погибнуть мучительной смертью.

Всѣ дѣйствующія лица „Анны Карениной“ раздѣлены на двѣ категоріи. Одни слѣдуютъ правилу, правиламъ и вмѣстѣ съ Левинымъ идутъ къ благу, къ спасенію; другіе слѣдуютъ своимъ желаніямъ, нарушаютъ правила и, по мѣрѣ смѣлости и рѣшимости своихъ дѣйствій, подпадаютъ болѣе или менѣе жестокому наказанію. Кому многое дано, съ того много и взыщется. Анна—наиболѣе даровитая, ее ждетъ крайній позоръ. Другіе страдаютъ меньше—пока. Нужно думать, что, если бы графъ Толстой довелъ въ „Аннѣ Карениной“ до конца жизни всѣхъ своихъ героевъ, то всѣмъ было бы воздано по соотвѣтствію съ тѣмъ, насколько и какъ они нарушали „правила“.

Однако, въ „Аннѣ Карениной“ объемъ „правилъ“, почитаемыхъ гр. Толстымъ за обязательныя, еще сравнительно не великъ. Въ эпоху созданія этого романа художникъ даетъ добру только относительную власть надъ человѣческой жизнью. Болѣе того, служеніе добру, какъ исключительная и сознательная цѣль жизни, еще отрицается имъ. Какъ въ „Войнѣ и Мірѣ“, такъ и въ „Аннѣ

Карениной“ гр. Толстой не только не вѣритъ въ возможность обмѣна жизни на добро, но считаетъ такой обмѣнъ неестественнымъ, фальшивымъ, притворнымъ, въ концѣ концовъ обязательно приводящимъ къ реакціи даже самаго лучшаго человѣка. Въ „Войнѣ и Мірѣ“ онъ произноситъ суровый приговоръ надъ Соней, этой добродѣтельной, любящей и такъ глубоко преданной семьѣ Ростовыхъ дѣвушкой. Въ эпилогѣ, гдѣ выступаютъ на сцену молодыя семьи Николая Ростова и Пьера Безухова, жизнь выросшихъ на нашихъ глазахъ людей—Пьера, Наташи, Николая и княжны Марьи—изображается осмысленной и полной. Они всѣ нашли себѣ свое мѣсто и свою работу и спокойно продолжаютъ дѣло своихъ отцовъ. Ихъ существованіе нужно, понятно. Одна Соня, случайный, всѣхъ стѣсняющій пришлецъ, уныло сидитъ за самоваромъ, исполняя роль не то няньки, не то приживалки. А за ея спиной подруга ея дѣтства, Наташа, и княжна Марья, такъ много умилявшаяся надъ идеями о добродѣтеляхъ и потомъ отнявшая у Сони Николая, обсуждаютъ ея жизнь и приводятъ текстъ изъ Евангелія, которымъ ея жалкое положеніе признается вполнѣ заслуженнымъ.

Вотъ ихъ разговоръ:

—Знаешь что,—сказала Наташа:—вотъ ты много читала Евангеліе; тамъ есть одно мѣсто прямо о Сонѣ.

—Что?—съ удивленіемъ спросила графиня Марья.

—„Имущему дается, а у неимущаго отнимется, помнишь? Она—неимущій: за что? не знаю; въ ней нѣтъ, можетъ быть, эгоизма,—я не знаю; но у ней отнимется и все отнялось. Мнѣ ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобъ Nicolas женился на ней; но я всегда какъ бы предчувствовала, что этого не будетъ. Она *пустоцвѣтъ* (курсивъ гр. Толстого), какъ на клубникѣ“.

Едва ли нужно говорить, что подчеркнутый „пустоцвѣтъ“ и его объясненіе:„ у нея нѣтъ эгоизма“, и потому у нея „все отнялось“—не только мнѣніе Наташи и княжны Марьи, которая хоть и иначе толковала Евангеліе, но все

же, „глядя на Соню“,—соглашалась съ Наташею; всякому очевидно, что это мнѣніе двухъ счастливыхъ, но не выдержавшихъ испытанія добродѣтели женщинъ, есть и мнѣніе самого автора „Войны и Мира“. Соня—пустоцвѣтъ; ей ставится въ вину отсутствіе эгоизма, не смотря на то, что она вся—преданность, вся—самоотверженіе. Эти качества, въ глазахъ гр. Толстого—не качества, ради нихъ—не стоитъ жить; кто ими только обладаетъ—тотъ лишь похожъ на человѣка, но не человѣкъ. Наташа, вышедшая замужъ за Пьера черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти князя Андрея, княжна Марья, которой „состояніе имѣло вліяніе на выборъ Николая“,—обѣ, умѣвшія въ рѣшительную минуту взять отъ жизни счастье—правы. Соня—неправа; она—пустоцвѣтъ. Нужно жить такъ, какъ жили Наташа и княжна Марья. Можно и должно стараться „быть хорошимъ“, читать священныя книги и умиляться повѣствованіямъ странниковъ и нищихъ. Но это—только поэзія существованія, а не жизнь. Здоровый инстинктъ долженъ подсказать истинный путь человѣку. Кто, соблазнившись ученіемъ о долгѣ и добродѣтели, проглядитъ жизнь, не отстоитъ во время своихъ правъ—тотъ „пустоцвѣтъ“. Таковъ выводъ, сдѣланный графомъ Толстымъ изъ того опыта, который былъ у него въ эпоху созиданія „Войны и Мира“. Въ этомъ произведеніи, въ которомъ авторъ подводитъ итогъ своей 40-лѣтней жизни, добродѣтель an sich, чистое служеніе долгу, покорность судьбѣ, неумѣнье постоять за себя—прямо вмѣняются человѣку въ вину. Надъ Соней, какъ впослѣдствіи надъ Анной Карениной, произносится приговоръ,—надъ первой за то, что она не преступила правила, надъ второй—за то, что она преступила правило.

Но еще въ „Аннѣ Карениной“ антипатія гр. Толстого къ людямъ, посвятившимъ себя служенію добру, проявляется со всей силой. Какой жалкой изображена тамъ Варенька съ ея бѣдными, больными и ея безропотной жизнью при госпожѣ Шталь! И съ какимъ отвращеніемъ вспоминаетъ Кити о своихъ попыткахъ слу-

женія добру и свою встрѣчу съ Варенькой заграницей. Она предпочитаетъ лучше, чтобъ ея мужъ былъ невѣрующимъ—„она, которая считаетъ, что невѣріе погубитъ его въ будущей жизни“—чѣмъ, чтобъ онъ былъ такимъ, какой была она сама заграницей. Наконецъ, главный герой романа, alter ego автора (даже фамилія его произведена отъ имени гр. Толстого: Левъ-Левинъ)—тотъ прямо заявляетъ, что сознательное служеніе добру—есть ненужная ложь. Вотъ, что о немъ разсказываетъ авторъ: „Прежде (это началось почти съ дѣтства и все росло до полной возмужалости), когда онъ (Левинъ) старался сдѣлать что-нибудь такое, что сдѣлало бы *добро* для всѣхъ, для человѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но самая дѣятельность всегда была нескладная и сходила на нѣтъ; теперь же, когда онъ, послѣ женитьбы, сталъ болѣе и болѣе ограничиваться жизнью для себя, онъ, хотя и не испытывалъ болѣе никакой радости при мысли о своей дѣятельности, чувствовалъ увѣренность, что дѣло его необходимо, видѣлъ, что оно спорится гораздо лучше, чѣмъ прежде, и что оно все становится больше и больше. Теперь онъ, точно противъ воли, все глубже и глубже врѣзывался въ землю, какъ плугъ, такъ что ужъ и не могъ выбраться, не отвернувъ борозды“. И, благодаря тому, что онъ порвалъ со своимъ прошлымъ, что отказался думать о служеніи добру, всей Россіи, всей деревнѣ и т. д., онъ уже всегда, при всѣхъ жизненныхъ обстоятельствахъ, знаетъ, что ему дѣлать и какъ поступать, что важно и что не важно. Семья должна жить такъ же, какъ жили дѣды и отцы, хозяйство нужно вести возможно лучше и для этого нанимать рабочихъ какъ можно дешевле. О дѣлахъ брата и сестры и всѣхъ мужиковъ, къ нему ходившихъ за совѣтами, нужно позаботиться, но работнику, ушедшему домой въ рабочую пору, потому что у него умеръ отецъ—простить нельзя, хоть и жалко его. Левина мучила мысль о томъ, что онъ не знаетъ, для чего живетъ и какъ жить, но, тѣмъ не менѣе, онъ „твердо прокла-

дывалъ свою особенную опредѣленную дорогу въ жизни и подъ конецъ убѣдился, что, хотя онъ и не ищетъ добра, а ищетъ своего счастія, но тѣмъ не менѣе или, вѣрнѣе, именно потому его жизнь „не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомнѣнный смыслъ добра“.

II

Откуда же взялся этотъ „смыслъ добра“? Отчего добро пришло благословить Левина, а не другихъ дѣйствующихъ лицъ романа? Отчего Анна погибаетъ и заслуженно, Вронскій—обращается въ развалину, Кознышевъ—влачитъ призрачное существованіе, а Левинъ мало того, что пользуется всѣми благами жизни, еще пріобрѣтаетъ право на глубокій душевный миръ — прерогативу немногихъ и исключительныхъ людей? Почему судьба такъ несправедливо одѣлила Левина и такъ жестоко обидѣла Анну? Для другого писателя — натуралиста, напримѣръ—подобные вопросы существовать не могутъ. Для него несправедливость судьбы—основной принципъ человѣческой жизни, столь очевидно вытекающій изъ закона естественнаго развитія, что ему и удивляться не приходится. Но такой писатель не цитируетъ Евангелія и не говоритъ о возмездіи. У гр. Толстого, наоборотъ, самый романъ „Анна Каренина“ вызванъ этимъ вопросомъ. Онъ не описываетъ жизнь, а допрашиваетъ ее, требуетъ отъ нея отвѣта. Его художественное творчество пробуждается лишь потребностью разрѣшить мучащіе его вопросы. Оттого всѣ его произведенія, и малыя и большія, и „Война и Миръ“, и „Смерть Ивана Ильича“, и публицистическія статьи имѣютъ характеръ совершенной законченности. Гр. Толстой предстаетъ предъ публикой всегда съ отвѣтами и отвѣтами, данными въ такой опредѣленной формѣ, которая вполнѣ удовлетворяетъ наиболѣе требовательнаго и строгаго въ этомъ смыслѣ человѣка. И это, конечно, не случайность, не можетъ быть случайностью. Въ этомъ—основная черта творчества гр. Толстого. Вся та огромная внутренняя

работа, которая понадобилась для созданія „Анны Карениной“ или „Войны и Мира“, была вызвана назрѣвшей до крайней степени потребностью понять себя и окружающую жизнь, отбиться отъ преслѣдующихъ сомнѣній и найти для себя—хоть на время—прочную почву. Слишкомъ серьезны и настойчивы всѣ эти запросы, чтобъ можно было отъ нихъ спрятаться за простой обрисовкой непосредственно бросающихся въ глаза образовъ дѣйствительности или передачей воспоминаній изъ своего прошлаго. Нужно иное. Нужно найти свое п р а в о въ жизни. Нужно найти силу, большую, чѣмъ сила человѣка, которая бы поддержала, защитила это право. Личные вкусы, симпатіи, пристрастія, увлеченія, страсти—всѣ тѣ элементы, на которые обыкновенно писатели-реалисты разлагаютъ человѣческую жизнь—не обезпечиваютъ ничего и не могутъ успокоить гр. Толстого. Онъ ищетъ могучаго, всесильнаго союзника, чтобъ его именемъ говорить о своихъ правахъ. Вся сила генія гр. Толстого направлена къ тому, чтобъ отыскать этого союзника и переманить его на свою сторону. И въ этомъ дѣлѣ гр. Толстой безпощаденъ. Нѣтъ ничего такого, чего бы онъ не уничтожилъ, еслибъ оно явилось ему препятствіемъ къ достиженію этой цѣли. И нѣтъ границъ его душевному напряженію, когда рѣчь идетъ объ этомъ священнѣйшемъ его интересѣ. Лгать, притворяться, придумывать ложные факты—гр. Толстой не хочетъ и не можетъ. Онъ пишетъ не для другихъ, а для себя. Поэтому-то онъ не только не прибавляетъ своему Левину ни одного не принадлежащаго ему качества, но честно и откровенно изображаетъ всѣ его недостатки и смѣшныя стороны. „Таковъ Левинъ“,—говоритъ намъ гр. Толстой, „и преувеличенно ревнивый, и эгоистъ, бѣгущій общественныхъ дѣлъ, и неловкій, неотесанный бирюкъ—и тѣмъ не менѣе добро съ нимъ, его жизнь имѣетъ опредѣленный смыслъ добра“. Онъ не только устроилъ свою жизнь сообразно своимъ потребностямъ и желаніямъ, но онъ вѣрно угадалъ, куда идти, что дѣлать для того, чтобы добро было на его сторонѣ. А „добро“—

это и есть та могучая сила, которая дѣлаетъ Левина великаномъ въ сравненіи съ другими людьми, ибо сильнѣе добра—нѣтъ ничего. И въ моментъ появленія „Анны Карениной“ вы могли въ чемъ угодно убѣдить гр. Толстого, только не въ томъ, что добро не за Левина. Мало того, что за Левина—оно п р о т и в ъ всѣхъ, кто думаетъ, чувствуетъ и живетъ не по-левински; оно противъ Кознышева, Вронскаго, противъ Анны и оно имъ отмститъ, оно ихъ накажетъ, какъ бы временно они не торжествовали свою побѣду надъ Левинымъ. Левинъ словно плугъ врѣзался въ землю. Та сила, которая нужна была гр. Толстому—найдена и на его сторонѣ. Всѣ Вареньки, Сони и другія добродѣтельныя существа служатъ не настоящему добру, ибо они не по-левински живутъ—и ихъ валитъ гр. Толстой въ одну кучу съ Вронскимъ и Анной. Для нихъ не уготовлены трагедіи и жестокіе удары, но ихъ постылое существованіе хуже какого угодно несчастья. Гр. Толстой никого изъ жертвъ своихъ не жалѣетъ. Вы нигдѣ не услышите у него мягкихъ нотъ состраданія, которыя такъ часто слышны въ произведеніяхъ Диккенса, Тургенева и даже у экспериментталистовъ, напр., у Зола и Бурже, никогда не пропускающихъ возможности подчеркнуть свои гуманныя чувства. Гр. Толстому, можетъ быть, это покажется страннымъ, но многіе читатели упрекаютъ его въ холодности, въ безчувственности, въ черствости. Вести Анну Каренину подъ поѣздъ и ни разу не вздохнуть! Слѣдить за агоніей Ивана Ильича—и не пролить ни одной слезы! Это кажется до того непонятнымъ и возмутительнымъ многимъ читателямъ, что они готовы даже отрицать художественный геній за гр. Толстымъ. Имъ представляется, что назвать гр. Толстого геніемъ—значитъ оскорбить нравственность, ставящую впереди всѣхъ своихъ требованій умѣнье сочувствовать несчастію ближняго. Они считаютъ своей важнѣйшей обязанностью переводить гр. Толстого въ разрядъ второклассныхъ писателей, не могущихъ сравниться съ Диккенсомъ или Тургеневымъ, полагая, что такимъ способомъ они отстаи-

ваютъ святое право состраданія. По ихъ мнѣнію, тотъ не можетъ называться великимъ художникомъ, кто не проявляетъ достаточно сочувствія къ страданіямъ ближняго. И они—эти читатели—по своему даже слишкомъ правы. Они хотятъ быть сострадательными, потому что состраданіе—это все, что они могутъ дать отъ себя обиженнымь судьбой людямъ. Жалѣя несчастныхъ, проливая слезы надъ погибающими—они успокаиваютъ вѣчно тревожащіе ихъ упреки совѣсти. „Нельзя поставить на ноги свалившагося—такъ поплачемъ надъ нимъ, все легче будетъ“ разсуждаютъ они. Кому легче будетъ? На этотъ вопросъ они не отвѣчаютъ, этого вопроса они себѣ не ставятъ, не смѣютъ ставить. И, понятно, гр. Толстой, не проявляющій гуманныхъ чувствъ, пугаетъ ихъ, и они торопятся къ „Степному королю Лиру“, къ разсказамъ Диккенса, даже къ „Лурду“, ибо тамъ ужасъ, возбуждаемый картинами несчастья, разрѣшается благородными чувствами состраданія, подсказываемыми авторами читателю. Даже Зола, тотъ Зола, котораго такъ не любитъ гр. Толстой, во всѣхъ своихъ произведеніяхъ приводитъ насъ въ умиленіе своей способностью сострадать горю своихъ героевъ.

У графа же Толстого нѣтъ и слѣда такого мягкосердечія. Русская публика съ ужасомъ услыхала вѣсть о нарожденіи въ Европѣ новаго направленія—нитшеанства, вождь котораго проповѣдовалъ безпощадную суровость къ слабымъ и несчастнымъ. „Что слабо—то нужно еще толкнуть“. „Не желай быть врачемъ у безнадежно больного“... Мы думали, что до Нитше никто не возвѣщалъ такихъ и подобныхъ имъ правилъ, какъ заповѣдей нравственности. Болѣе того, мы были убѣждены, что попираемая на западѣ нравственность найдетъ у насъ, въ Россіи, надежное убѣжище. Противъ Нитше мы считали возможнымъ выставить своего богатыря, „великаго писателя земли русской“—гр. Толстого. Даже тѣ читатели, о которыхъ шла рѣчь выше, читатели, инстинктивно бѣжавшіе отъ гр. Толстого къ Тургеневу, даже и они видѣли въ авторѣ „Войны и Мира“

своего естественнаго и могучаго защитника противъ надвигающейся съ запада грозы. И гр. Толстой выступилъ противъ Нитше и его направленія съ чисто юношеской, на видъ, свѣжестью и страстью убѣжденія. Въ книгѣ „Что такое искусство“, какъ уже было замѣчено, рѣчь идетъ не объ искусствѣ и даже не о французскихъ поэтахъ и операхъ Вагнера, о которыхъ въ ней подробно говорится,—рѣчь идетъ о болѣе серьезныхъ и важныхъ вопросахъ, чѣмъ искусство—о нравственности, о религіи и о болѣе значительномъ и глубокомъ писателѣ, чѣмъ Верленъ или Бодлеръ—о Нитше. Правда, имя Нитше рѣдко называется гр. Толстымъ, цитатъ изъ его произведеній совсѣмъ нѣтъ. Но гр. Толстой дѣлаетъ Нитше отвѣтственнымъ за новое направленіе въ литературѣ. Онъ говоритъ: „Это послѣдствіе ложнаго отношенія къ искусству уже давно проявлялось въ нашемъ обществѣ, но въ послѣднее время съ своимъ пророкомъ Нитше и послѣдователями его и совпадающими съ нимъ декадентами и англійскими эстетами выражается съ особенною наглостью. Декаденты и эстеты, въ родѣ Оскара Уальда, избираютъ темою своихъ произведеній отрицаніе нравственности и восхваленіе разврата“. Къ сожалѣнію, повторяю, гр. Толстой, возлагая на Нитше отвѣтственность за всѣ грѣхи новаго поколѣнія, не касается ни однимъ словомъ его философскаго ученія. Мнѣ кажется даже, что гр. Толстой знаетъ о Нитше только по наслышкѣ, изъ вторыхъ рукъ. На это указываетъ, между прочимъ, сближеніе, дѣлаемое гр. Толстымъ между Нитше и О. Уальдомъ. Еслибы гр. Толстой зналъ сочиненія Нитше, онъ бы не повторилъ этихъ словъ. Если бы гр. Толстой читалъ Нитше—онъ едва-ли бы сталъ говорить о „наглости“. Можно принимать или не принимать ученіе Нитше, можно привѣтствовать его мораль или предостерегать противъ нея, но, зная его судьбу, зная, какъ пришелъ онъ къ своей философіи, какою цѣною было имъ куплено „свое слово“—нельзя ни возмущаться имъ, ни негодовать противъ него. У Нитше было святое право говорить то, что онъ говорилъ. Я

знаю, что „слово“ святой нельзя употреблять неразборчиво, всуе. Я знаю, что люди охотно злоупотребляютъ имъ, чтобы придать больше вѣсу и убѣдительности своимъ сужденіямъ. Но въ отношеніи къ Нитше не могу подобрать другого слова. На этомъ писателѣ—мученическій вѣнецъ. У него было *все* отнято, чѣмъ красится обыкновенно человѣческая жизнь и взвалена такая тяжкая ноша, какую рѣдко кому-либо приходится нести на себѣ. У него есть разсказъ о трехъ превращеніяхъ, которымъ подвергается человѣкъ въ своей жизни. Сперва, говоритъ онъ, человѣкъ превращается въ верблюда. „Что тяжело? спрашиваетъ выносливый духъ, и, подобно верблюду опускается на колѣни и ждетъ чтобъ его нагрузили. Что наиболѣе тяжело, вы, герои? такъ спрашиваетъ выносливый духъ—я возьму все это на себя и буду радоваться своей силѣ. Унижаться, чтобъ оскорбить свое высокомѣріе? Дать проявиться своей глупости, чтобъ посмѣяться надъ своей мудростью? Или покинуть свое дѣло, когда оно готово праздновать побѣду? Взбираться на высокія горы, чтобъ искушать искусителя? Или питаться желудями и травой познанія и ради истины терпѣть духовный голодъ? Или въ томъ: быть бѣднымъ и отсылать утѣшителей и вести дружбу съ глухими, которые никогда не слышатъ, что тебѣ нужно? Или въ этомъ: идти въ грязныя воды, если это воды истины, и отбрасывать отъ себя холодныхъ лягушекъ и горячихъ жабъ? Или въ томъ: тѣхъ любить, которые насъ презираютъ и протягивать руку привидѣнію, явившемуся пугать насъ? Все, самое трудное, принимаетъ на себя выносливый духъ: подобно верблюду, спѣшащему со своимъ грузомъ въ пустыню, идетъ и онъ въ свою пустыню“ *). Въ этихъ образахъ—краткая исторія длинной подвижнической жизни. Да не подумаетъ читатель, что здѣсь есть хоть тѣнь преувеличенія. Наоборотъ—здѣсь главнаго, быть можетъ самаго ужаснаго,—нѣтъ.

---

*) A. S. Z. Von den drei Verwandlungen.

Читая эти строки, можно думать, что Нитше, выносливый духъ, добровольно шелъ на муки, добровольно склонилъ колѣни и сознательно принялъ на себя непосильную для человѣка ношу. Въ такомъ сознательномъ и добровольномъ подвижничествѣ, какъ бы тяжело само по себѣ оно ни было, есть утѣшеніе гордости: человѣкъ чувствуетъ, что онъ шелъ на великое дѣло. Но у Нитше этого не было. Несчастье свалилось на него внезапно, неожиданно, можетъ быть въ тотъ именно моментъ, когда онъ ожидалъ себѣ награды за свою прошлую жизнь. Когда его поразилъ громъ —небо было надъ нимъ ясно и чисто; онъ не ждалъ ни откуда опасности, былъ довѣрчивъ и спокоенъ, какъ малое дитя. Онъ служилъ „добру“, онъ велъ чистую и честную жизнь нѣмецкаго профессора, искалъ идеаловъ у греческихъ философовъ и новѣйшихъ музыкантовъ, изучалъ Шоппенгауера, велъ дружбу съ Вагнеромъ и во имя всего этого,—что почиталось имъ тогда самымъ важнымъ и нужнымъ—отказывался отъ дѣйствительной жизни. Впослѣдствіи онъ говоритъ: „кто уже не жертвовалъ собой ради своего добраго имени!“ и „ни за что намъ такъ дорого не приходится расплачиваться какъ за наши добродѣтели“. Но въ то время, когда онъ ради этихъ добродѣтелей, ради этого „добраго имени“ ушелъ отъ жизни, чтобы въ тиши своего кабинета создавать новыя теоріи (такъ понималъ онъ тогда служеніе добру)—онъ не зналъ, не подозрѣвалъ даже, что придется такъ неслыханно расплачиваться за свою добросовѣстность. Если-бы онъ могъ хоть бы на минуту представить себѣ, что ждетъ его въ будущемъ, онъ, конечно, сильно призадумался бы надъ выборомъ пути. Но, кто можетъ угадать свою судьбу? Кто не ввѣряется въ молодости своимъ учителямъ и идеаламъ? Нитше только болѣе беззавѣтно, болѣе полно, болѣе послѣдовательно вѣрилъ въ непогрѣшимость своихъ принциповъ. Онъ все задушилъ въ себѣ, всѣ природные инстинкты и запросы, которые обыкновенно умѣютъ заставить подчинить себѣ и самыя добродѣтельныя души. Но у Нитше середины не было. Онъ учился и училъ—всему, что считалъ важ-

нымъ, нужнымъ, серьезнымъ, и за этимъ дѣломъ совсѣмъ позабылъ о жизни. Даже при появленіи первыхъ грозныхъ признаковъ болѣзни Нитше не обезпокоился. Онъ на скоро глоталъ разнаго рода лѣкарства, чтобъ не возиться съ сложнымъ лѣченіемъ и не отрываться отъ своего служенія, и продолжалъ свои философскія и профессорскія занятія до тѣхъ поръ, пока недугъ не свалилъ его окончательно. Только тогда понялъ, наконецъ, Нитше, что добродѣтель не защититъ его отъ всего. Но уже было „слишкомъ поздно“. Прошлаго измѣнить нельзя было. Нельзя было „повернуть тотъ камень, который называется „то было“. Осталось одно: размышлять—искать въ прошломъ оправданія, объясненія ужаснаго настоящаго. А каково было это настоящее, можно судить хотя бы потому, что единственнымъ облегченіемъ для него служили мечтанія о самоубійствѣ. На „три четверти слѣпой“, подверженный вѣчнымъ мучительнѣйшимъ и отвратительнымъ припадкамъ, обреченный безжалостной болѣзнью на полное уединеніе, всегда на волосокъ отъ смерти и безумія—такъ прожилъ Нитше 15 лѣтъ, въ теченіе которыхъ были написаны имъ его главныя сочиненія. „Я съ трудомъ принимаю жизнь“,—говорилъ онъ,—„я надѣюсь, что скоро наступитъ конецъ моимъ страданіямъ“. Но конецъ наступилъ не скоро. 15 лѣтъ и для менѣе ужасной болѣзни—срокъ слишкомъ длинный. Кто столько страдалъ и чья „вина“ была только въ преувеличенномъ довѣріи къ нравственнымъ идеаламъ, тотъ въ правѣ сказать свое слово, тотъ въ правѣ требовать, чтобъ его внимательно выслушали и не узнавали о немъ отъ другихъ.

Но возвратимся къ гр. Толстому. Я сказалъ, что читающая публика—даже та, которая видѣла въ гр. Толстомъ талантъ далеко менѣе значительный, чѣмъ въ Диккенсѣ или Тургеневѣ,—ждала отъ него наиболѣе серьезной оппозиціи нитшеанству. Какъ ни холоденъ ей казался гр.Толстой—его называютъ человѣкомъ со стальной душой (это, между прочимъ, любопытно—гр. Толстой, учащій умиляться надъ дѣтскими разсказами—и стальная ду-

ша!)—но въ немъ видѣли естественнаго защитника „добра“ и противника Нитше. Особенно, въ виду его публицистическихъ статей, въ которыхъ онъ съ такой рѣшительностью высказался сторонникомъ буквальнаго пониманія Евангелія. Правда, поклонники Диккенса и Тургенева далеко не всегда сочувственно относились къ проповѣди гр. Толстого. Они находили, что онъ слишкомъ уже усердствуетъ, требуя, чтобъ образованные люди пахали землю и одѣвались по-мужицки. Но, когда пришлось выбирать между доведенной до крайности, но привычной нравственностью и совершенно уничтожающимъ обычную мораль ученіемъ—всѣ склонились на сторону первой. Сомнѣнія ни у кого не было: графъ Толстой и Нитше взаимно исключаютъ другъ друга. Болѣе того, даже оба учителя считали одинъ другого своей противоположностью. Нитше, говоря о „толстовскомъ состраданіи“, полагаетъ, что указываетъ на нѣчто, ему самому совершенно чуждое. О гр. Толстомъ и говорить нечего: его послѣднее произведеніе, какъ было уже указано, имѣетъ своей единственной цѣлью отповѣдь Нитшеанству.

Но такъ ли это? Дѣйствительно-ли эти два замѣчательныхъ современныхъ писателя столь чужды другъ другу? Вѣроятно, самая возможность такого вопроса покажется странной, тѣмъ болѣе отрицательный отвѣтъ на него. Поэтому, ничего не предрѣшая, займемся первымъ значительнымъ публицистическимъ произведеніемъ гр. Толстого, которое введетъ насъ къ его книгѣ „Что такое искусство“, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ главнымъ вопросамъ, занимавшимъ Нитше.

III

„Мысли, вызванныя перепиcью въ Москвѣ“, появились сравнительно скоро послѣ „Анны Карениной“—промежутокъ между ними равняется 3—4 годамъ. Въ сущности, онъ еще короче, если принять во вниманіе признаніе гр. Толстого, что за эту статью онъ нѣсколько

разъ принимался еще раньше, но ему никакъ не удавалось довести ее до конца. Очевидно, что перепись не была причиной перемѣны міровоззрѣнія гр. Толстого. Все, что нужно было для новаго душевнаго переворота, уже давно было подготовлено у гр. Толстого. Перепись, какъ это часто происходитъ въ жизни людей, была только внѣшнимъ поводомъ, котораго гр. Толстой уже, повидимому, давно искалъ. Его душевное равновѣсіе—то, что онъ у Левина называлъ „жизнью, осмысленной добромъ“, уже давно ушло въ область воспоминаній. Можетъ быть, „Анна Каренина“ была только попыткой возстановить прошлое, и въ то время, когда гр. Толстой съ такой силой убѣжденія разсказывалъ намъ, что „добро“ съ Левинымъ и за Левина, что Левинъ какъ плугъ врѣзался въ землю и дѣлаетъ самое лучшее, настоящее дѣло,—можетъ быть, въ это время самъ гр. Толстой уже жилъ только воспоминаніемъ прошлаго, къ которымъ его тѣмъ настоятельнѣе тянуло, чѣмъ очевиднѣе и мучительнѣе было сознаніе, что казавшаяся когда-то столь прочной почва начинаетъ уходить изъ-подъ его ногъ. Быть можетъ, этимъ особеннымъ настроеніемъ и объясняется его плохо скрытая радость по поводу возможности опозорить и уничтожить Анну. Онъ уже тогда сознавалъ, что теряетъ свои права, что хозяйство, семья, ограниченное вмѣшательство въ жизнь крестьянъ, фрондированіе противъ либерализма и газетъ, „отрицательное“ служеніе добру,—словомъ, все то, что наполняло когда-то собою Левинское существованіе—уже не удовлетворяетъ его, что снова явилась какая-то пустота, что снова не достаетъ той прочности, которая давала ему право смотрѣть на всѣхъ людей сверху внизъ и считать, что за него—Богъ и противъ всѣхъ его враговъ—Богъ. „Анна Каренина“ написана, повидимому, ex post facto. Оттого-то въ этомъ романѣ столько осторожной справедливости и преувеличенной внимательности ко всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ анти-левинскаго направленія. Никого изъ нихъ, въ концѣ концовъ, авторъ не пощадитъ; но именно вслѣдствіе этого всѣ они

описываются съ ихъ лучшихъ сторонъ. Они—и добрыя, и умныя, и честныя, и красивыя. Гр. Толстой не торопится выставлять напоказъ ихъ слабости. Лишь изрѣдка, мелкими штрихами, почти вставочными замѣчаніями онъ намекаетъ читателю, въ чемъ негодность этихъ людей. Но ударъ направленъ вѣрной и сильной рукой. Никто изъ нихъ не спасется: левинское восторжествуетъ.

Но, не надолго. „Анна Каренина“ — послѣдняя попытка, сдѣланная гр. Толстымъ, чтобъ удержаться на прежней почвѣ. Всѣ старые интересы уже для него не существовали; онъ ушелъ уже далеко за предѣлы левинскихъ радостей и огорченій. Когда онъ пріѣхалъ въ Москву передъ переписью, это уже, повидимому, не былъ тотъ гр. Толстой, который недавно напечаталъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ большой романъ съ міровоззрѣніемъ, столь яснымъ и опредѣленнымъ. Это былъ хотя уже и не молодой человѣкъ—ему уже было тогда за 50 лѣтъ, хотя и прославленный всѣми писатель, въ которомъ прежде всего поражали твердость и смѣлость убѣжденій, но на самомъ дѣлѣ это былъ человѣкъ, весь преисполненный сомнѣній, знавшій только одно—что то, что у него есть—ничего уже не стоитъ, и что нужно искать другого. Какъ ни странно звучитъ это, но ужасы, открытые имъ при обхожденіи московскихъ пріютовъ для бездомныхъ и бѣдныхъ людей, были для него почти счастливой находкой. „И прежде, —разсказываетъ онъ,— чуждая мнѣ и странная городская жизнь теперь опротивѣла мнѣ такъ, что всѣ радости роскошной жизни, которыя прежде мнѣ казались радостями, стали для меня мученіемъ. И какъ я ни старался найти въ своей душѣ хоть какія-нибудь оправданія нашей жизни, я не могъ безъ раздраженія видѣть ни своей, ни чужой гостинной, ни чисто, барски накрытаго стола, ни экипажа, сытаго кучера и лошадей, ни магазиновъ, театровъ, собраній. Я не могъ не видѣть рядомъ съ этимъ голодныхъ, холодныхъ и униженныхъ жителей Ляпинскаго дома“. Такое противоположеніе роскоши и обезпеченности собственной жизни съ нуждой, ляпинской нуждой — дѣй-

ствительно можетъ и должно вызвать въ человѣкѣ, никогда не открывавшемъ глазъ своихъ на несчастіе ближняго, сильную реакцію. Но гр. Толстой не былъ новичкомъ въ этомъ дѣлѣ. Авторъ „Войны и Мира“, такъ мастерски нарисовавшій намъ всѣ ужасы 12-го года, видѣвшій предъ собой тысячи смертей и убійствъ, самыя страшныя и отвратительныя проявленія человѣческой жестокости и низости, и вышедшій твердымъ изъ жизненныхъ испытаній, не могъ смутиться зрѣлищемъ нужды, подобно тому индійскому юношѣ, который, впервые вырвавшись изъ дворца, увидѣлъ больного, старика и нищаго. Я не хочу этимъ сказать, что, съ наступленіемъ зрѣлаго возраста, человѣкъ научается или долженъ научиться равнодушно относиться къ царствующему на землѣ злу. Нѣтъ, наоборотъ даже, взрослый человѣкъ можетъ ближе, чѣмъ юноша, принимать къ сердцу несчастія людей. Но тѣмъ загадочнѣе становятся для насъ переживанія гр. Толстого по поводу видѣннаго имъ въ Ляпинскомъ домѣ. Сначала, передаетъ онъ, его до такой степени поразила обстановка и условія жизни обитателей ночлежныхъ домовъ, что онъ не могъ говорить объ этомъ безъ слезъ и злобы. „Я, самъ не замѣчая того, со слезами въ голосѣ кричалъ и махалъ руками на своего пріятеля. Я кричалъ: „*такъ нельзя жить, нельзя такъ жить, нельзя*“. Но потомъ всѣ ему, по его словамъ, стали говорить, что онъ волнуется такъ не потому, что видѣнное имъ зрѣлище столь ужасно, а лишь потому, что онъ самъ очень „добрый и хорошій человѣкъ“. И эти разговоры убѣдили его. „Я,—говоритъ онъ,— охотно повѣрилъ этому. И не успѣлъ оглянуться, какъ вмѣсто чувства *упрека и раскаянія*, которое я испыталъ сначала, во мнѣ уже было чувство довольства своей добродѣтелью и желаніе высказать ее людямъ“. Впослѣдствіи гр. Толстой понялъ, что его друзья обманываютъ его путемъ ложныхъ и ловкихъ софизмовъ и что онъ не только не добродѣтельный и хорошій, но очень дурной человѣкъ, и это привело его къ проповѣди отреченія отъ цивилизованной жизни. Рождается любо-

пытный вопросъ, что было бы, если бы, разсматривая свою жизнь, гр. Толстой убѣдился, что его друзья правы и что онъ точно хорошій и добродѣтельный, а не дурной и виноватый человѣкъ? Положеніе обитателей ночлежныхъ домовъ отъ этого не стало бы легче. По-прежнему на морозѣ толпились бы на половину замерзшіе люди, едва прикрытые разодранными лохмотьями, по-прежнему городовые водили бы въ участки Христовыхъ нищихъ, по-прежнему ночные обходы забирали бы кучи несчастныхъ и отвратительныхъ проститутокъ—все осталось бы по-прежнему, кромѣ одного: у гр. Толстого совѣсть была бы спокойна. И тогда можно было бы быть довольнымъ своей добродѣтелью и показывать ее людямъ, какъ это случилось съ гр. Толстымъ, когда на время его друзьямъ удалось убѣдить его?

Этотъ вопросъ гораздо важнѣе, нежели можетъ показаться съ перваго раза. Въ немъ объясненіе того, какое дѣло занимаетъ гр. Толстого, чего ищетъ онъ въ московскихъ трущобахъ. Очевидно —не въ нищихъ ляпинскаго дома дѣло, а въ немъ самомъ, въ гр. Толстомъ. Придя къ этимъ бѣднякамъ, онъ ищетъ не дать имъ, а взять у нихъ, онъ спрашиваетъ не за нихъ, а за себя. Онъ бы могъ уйти отъ нихъ, закрыть глаза, забыть ихъ, какъ онъ это дѣлалъ въ прежніе годы, когда сталкивался съ несчастіемъ, — но на этотъ разъ нищіе ему нужны. Не всѣ, а нѣкоторые и даже не эти, ляпинскіе, а другіе. И отъ тѣхъ, которые ему не нужны—онъ уйдетъ, отвернется, какъ отворачивался когда-то отъ Сони, отъ Вареньки, отъ Анны, съ которыми не былъ непосредственно, лично связанъ—и придетъ къ тѣмъ, съ которыми можно жить, которые не отнимаютъ жизненную бодрость, а увеличиваютъ ее, которые помогаютъ врѣзаться какъ плугъ въ землю и даютъ возможность радостно чувствовать, что „добро“ опять на твоей сторонѣ. Словомъ,—тѣ бѣдные, которые могутъ сдѣлать то, что сдѣлали для Левина хозяйство, пчелиная охота, семья и т. д. Что касается остальныхъ, этихъ самыхъ городскихъ нищихъ, изъ-за которыхъ, повидимому, весь

сыръ боръ загорѣлся—ихъ гр. Толстой покинетъ: имъ помочь нельзя. „У безнадежно больного не должно желать быть врачемъ“. Эти слова, какъ помнитъ читатель, принадлежатъ Нитше. Я уже приводилъ ихъ рядомъ съ другимъ его изреченіемъ, почти тождественнымъ: „что слабо—то должно еще толкнуть“. Послѣднее правило читатель, пожалуй, еще не рѣшится примѣнить къ гр. Толстому. Но первое? Ему тоже ужасались. А оно резюмируетъ собою отношеніе гр. Толстого къ ляпинскимъ и рожновскимъ бѣднякамъ.

Сейчасъ послѣ переписи гр. Толстой, записавъ всѣхъ наиболѣе нуждающихся, рѣшилъ заняться благотворительностью. Тѣ изъ его знакомыхъ, которые обѣщали ему свое содѣйствіе, денегъ ему не дали. Тѣмъ не менѣе, онъ своихъ бѣдныхъ обходилъ нѣкоторое время и кой-кому помогъ. Въ одинъ изъ своихъ обходовъ онъ наткнулся на голодную, не ѣвшую два дня, женщину. На его вопросъ, кто она, ему отвѣтили: „была распутная, теперь никто не беретъ, такъ и не откуда взять“. Я не стану передавать подробностей этой ужасной сцены. Женщина точно ничего не ѣла два дня. Но вотъ заключеніе разсказа гр. Толстого: „я далъ ей рубль и помню, что очень былъ радъ, что другіе видѣли это“. Неужели это правда? Неужели правда, что гр. Толстой „очень былъ радъ, что другіе видѣли это?“ Не вѣрить нельзя: дальше онъ, словно желая разсѣять могущія возникнуть по этому поводу сомнѣнія говоритъ: „мнѣ такъ было пріятно давать, что я, не разбирая, нужно или не нужно давать, далъ и старушкѣ“.

Я не хочу уличать гр. Толстого или обвинять его. Авторъ „Войны и Мира“, авторъ „Мыслей, вызванныхъ перепиcью“—выше всякихъ обличеній и обвиненій.

Но тѣмъ важнѣе намъ понять смыслъ и значеніе его проповѣди. Эти откровенныя признанія—для насъ путеводные знаки, которые подведутъ насъ, вслѣдъ за гр. Толстымъ, къ тому источнику, откуда онъ черпалъ свое пророческое вдохновеніе. Въ томъ, что ему было пріятно,

„такъ пріятно“ давать милостыню даже въ тотъ моментъ, когда на его глазахъ разыгралась ужаснѣйшая драма—кто не почувствуетъ ея въ этихъ немногихъ словахъ:„была распутная, теперь никто не беретъ, такъ и не откуда взять“?—въ томъ, что друзья его могли хоть на время соображеніями о чувствительности его души отвлечь его вниманіе отъ сценъ московскихъ ночлежныхъ домовъ, кроется странная загадка, а, можетъ быть, и разгадка толстовской натуры. Уже теперь, не дочитывая статьи о переписи, можно предсказать, чѣмъ она окончится. Человѣкъ, которому такъ нужно быть добродѣтельнымъ—такъ или иначе окажется правымъ передъ собой и предъ всѣми. Добро уже придетъ къ нему, онъ приведетъ его къ себѣ, хотя бы для этого пришлось лишить добра всѣхъ людей.

Такъ и вышло, какъ помнятъ всѣ, читавшіе „Мысли, вызванныя переписью“. Гр. Толстой бросилъ московскихъ бѣдныхъ, потому что, какъ онъ подробно объясняетъ, имъ нельзя было помочь. Онъ кой-кому изъ нихъ давалъ деньги—и разъ, и два, и три раза, и давалъ столько, сколько, по ихъ собственнымъ разсчетамъ, нужно было, чтобы стать на ноги—но все это ни къ чему не повело. Ни одного изъ нихъ гр. Толстому не удалось спасти. Тогда онъ уѣхалъ въ свою деревню, чтобъ на досугѣ разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ и найти выходъ изъ тяжелаго положенія. А положеніе дѣйствительно было ужасное. Слова, которыми опредѣлялъ гр. Толстой свое настроеніе: „такъ нельзя жить“ показываютъ намъ, если его разсказы о московской бѣднотѣ и не произвели на насъ должнаго впечатлѣнія, какъ онъ самъ отнесся къ обнажившимся предъ нимъ язвамъ столичной жизни. И точно, какъ можетъ такой человѣкъ, какъ гр. Толстой жить, если на ряду съ нимъ существуютъ обитатели ночлежныхъ домовъ? Хорошо тѣмъ, которые никогда не открывали глаза на эти ужасы. Но какъ быть тому, кто ихъ видѣлъ, кто ихъ не можетъ забыть, не хочетъ, не долженъ забыть? Можно ихъ помнить?

IV

Отвѣтомъ на эти вопросы послужатъ для насъ результаты, къ которымъ пришелъ въ своей деревнѣ гр. Толстой. Ихъ знаютъ всѣ и подробно говорить о нихъ не приходится. Онъ рѣшилъ, что вся бѣда наша въ томъ, что мы, интеллигентные и достаточные люди, собирающіеся помогать несчастнымъ бѣднякамъ изъ ляпинскаго и иныхъ домовъ,—что мы сами недостаточно нравственны для такого дѣла, и что прежде, чѣмъ исцѣлять другихъ, намъ нужно исцѣлиться самимъ. Деньгами ничего сдѣлать нельзя, ибо эти бѣдняки не въ деньгахъ нуждаются. Ихъ нужно научить работать, цѣнить и любить трудъ—тотъ трудъ, которымъ пріобрѣтаются средства къ существованію. А какъ же можемъ мы научить ихъ этому, когда мы сами ничего не дѣлаемъ? Слѣдовательно, прежде всего нужно намъ о самихъ себѣ подумать, исправиться, тогда все остальное само собою устроится. Тогда мы можемъ словомъ и дѣломъ учить, а не только словомъ, которому наши дѣла противорѣчатъ; и, затѣмъ, мы, отказавшись отъ права на чужой трудъ, этимъ самымъ перестанемъ отнимать у другихъ тѣ средства, которыя имъ необходимы, а намъ служатъ для роскоши. И гр. Толстой, сбросивши съ себя европейское платье, одѣлся по-мужицки, сталъ самъ для себя топить печь, убирать комнату, пахать, сѣять и т. д. „И тутъ-то, придя къ этому сознанію и практическому выводу,—говоритъ онъ,—я былъ вознагражденъ вполнѣ за то, что не заробѣлъ передъ выводами разума и пошелъ туда, куда они вели меня“.

Въ чемъ же оказалась награда? Въ томъ, что ляпинскіе жители стали иными, что ихъ судьба стала менѣе ужасной? Нѣтъ, само собою разумѣется; ляпинцы забыты: лучше сталъ самъ гр. Толстой. Оказалось, объясняетъ онъ, что, „отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ, ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ усиліяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще 8 часовъ..., оказалось, что физическій трудъ

не только не исключаетъ возможности умственной дѣятельности, не только улучшаетъ ея достоинство, но поощряетъ ее". И, далѣе, онъ говоритъ: „чѣмъ напряженнѣе былъ трудъ, чѣмъ больше онъ приближался къ считающемуся самымъ грубымъ земледѣльческому труду, тѣмъ больше я пріобрѣталъ наслажденій, знаній и приходилъ тѣмъ болѣе въ тѣсное и любовное общеніе съ людьми и тѣмъ болѣе получалъ счастья жизни". Не смотря на предостереженіе врачей, физическій трудъ не только не повредилъ здоровью, но, наоборотъ, тѣмъ „сильнѣе, бодрѣе, веселѣе и добрѣе" себя чувствовалъ гр. Толстой, чѣмъ больше онъ работалъ. И сверхъ всего этого—что самое главное—онъ испыталъ полнѣйшій душевный миръ, успокоеніе совѣсти, которое онъ, въ краснорѣчивыхъ и патетическихъ словахъ, обѣщаетъ всякому, кто послѣдуетъ его примѣру: „Ты почувствуешь радость жить свободно съ возможностью добра, ты пробьешь окно, просвѣтъ въ область нравственнаго міра, который былъ закрытъ для тебя".

Таковъ результатъ, къ которому пришелъ въ деревнѣ гр. Толстой. У нашего брата, учившагося человѣка, есть возможность хорошо жить, спастись отъ скуки, стать бодрымъ, веселымъ, радостнымъ и, сверхъ того, опять привлечь на свою сторону добро, успокоить свою совѣсть, сдѣлаться очень хорошими, нравственными и счастливыми людьми. Гр. Толстой узналъ это у нищихъ ляпинскаго дома, которымъ онъ шелъ помочь. Не правда ли, эти нищіе были для него счастливой находкой, тѣмъ именно, въ чемъ онъ болѣе всего нуждался въ ту эпоху, когда онъ уже не могъ быть болѣе бодрымъ, веселымъ, счастливымъ и нравственнымъ на тотъ левинскій манеръ, когда пчелиная охота, семья и все прочее такъ высоко цѣнилось? Такова уже, видно, судьба бѣдняковъ: всегда они служили и служатъ средствомъ для богатыхъ. Если нельзя или не нужно брать у нихъ матеріальныя блага, то они доставляютъ „нравственныя" утѣшенія. Оказывается, что не только не „нельзя жить" намъ

въ виду ляпинской нужды, но можно жить отлично—радостно, весело, бодро, совсѣмъ такъ, какъ въ свое время жилъ Левинъ или Пьеръ Безухій, послѣ женитьбы. Даже болѣе того, теперь, послѣ переписи, явился одинъ совершенно новый и чрезвычайно важный рессурсъ въ жизни—сознаніе того, что всѣ эти радости не просто радости, какъ бываетъ у другихъ, и даже не добро, какъ было у Левина, а подвигъ во имя и ради страдающихъ ближнихъ.

Если и прежде можно было негодовать противъ всѣхъ, кто не по-Левински жилъ, если прежде можно было ради „добра“ уничтожать Вронскаго, Кознышева, Анну Каренину—то теперь, нечего и говорить, это право переходитъ въ обязанность, въ святую обязанность, можно было бы сказать, если бы скрывающееся подъ словомъ „уничтоженіе“ содержаніе не такъ плохо ладилось съ нашими представленіями о святости. Гр. Толстой, повидимому, только ждалъ того момента, когда, наконецъ, можно будетъ прямо и открыто начать проповѣдовать—не въ романахъ, гдѣ нападать приходится осторожно, съ соблюденіемъ всѣхъ условій, поставляемыхъ художественной задачей, а въ спеціальныхъ статьяхъ, не имѣющихъ никакихъ, постороннихъ проповѣди, цѣлей.

Теперь только онъ нашелъ себѣ дѣло, настоящее дѣло.

Правда, гр. Толстой утверждаетъ, что онъ нашелъ способъ исцѣлить человѣчество отъ всѣхъ общественныхъ недуговъ. По его словамъ, онъ напалъ, наконецъ, на архимедовъ рычагъ. Стоитъ только надавить—и весь старый міръ перевернется, всѣ бѣдствія исчезнутъ, и люди станутъ счастливыми. Но объ этой сторонѣ дѣла онъ говоритъ очень мало. Это для него само собою разумѣется, такъ само собою разумѣется, что онъ даже не допускаетъ искреннихъ сомнѣній въ годности средствъ, рекомендуемыхъ имъ для спасенія человѣчества. На всѣ возможныя возраженія онъ отвѣчаетъ либо сказками о человѣкѣ, испугавшемъ своей настойчивостью духа моря, либо общими разсужденіями, вродѣ слѣдующаго:

„Это будетъ тогда (т.-е. всѣ люди тогда начнутъ жить по принципамъ гр. Толстого), что будетъ очень скоро, когда люди нашего круга, а за ними все огромное большинство людей, не будутъ считать, что стыдно идти въ личныхъ сапогахъ въ гости, а не стыдно идти въ калошахъ мимо людей, у которыхъ нѣтъ никакой обуви; что стыдно не знать по-французски или послѣдней новости, а не стыдно ѣсть хлѣбъ и не знать, какъ его ставятъ; что стыдно не имѣть крахмальной рубашки и чистаго платья, а не стыдно ходить въ чистомъ платьѣ, выказывая тѣмъ свою праздность; что стыдно имѣть грязныя руки, а не стыдно не имѣть руки съ мозолями. Все это будетъ тогда, когда этого будетъ требовать общественное мнѣніе“... „Будетъ очень скоро“! Скоро, конечно, понятіе условное: можетъ черезъ 50, можетъ черезъ 100 лѣтъ,—а можетъ и раньше. Пока, съ того времени, какъ была окончена статья „Мысли, вызванныя переписью“, прошло 20 лѣтъ. Не смотря на то, что гр. Толстой все это время неустанно проповѣдовалъ одно и то же, обстоятельства не только не измѣнились къ лучшему, но стали еще ужаснѣе.

Если бы онъ теперь, какъ 20 лѣтъ тому назадъ, вздумалъ навѣстить московскіе ночлежные дома—онъ, конечно, не нашелъ бы тамъ своихъ старыхъ знакомыхъ. О нихъ позаботилось время, сметающее съ земли и радости и несчастія, но онъ нашелъ бы тамъ новыхъ людей, такихъ же ужасныхъ, какъ и тѣ, которыхъ онъ когда-то видѣлъ. И этихъ людей теперь гораздо больше, чѣмъ было прежде. За 20 лѣтъ десятки, можетъ быть, сотни тысячъ прошли черезъ рожновскіе дома, жили тамъ, мучились тамъ, совершали преступленія, умирали—въ то время какъ гр. Толстой совершенствовался нравственно въ Ясной Полянѣ и готовилъ громовыя статьи по адресу тѣхъ интеллигентовъ, которыхъ его примѣръ не соблазнялъ къ подражанію. Что же это значитъ? Какъ можетъ гр. Толстой говорить себѣ и убѣждать насъ, что онъ вполнѣ былъ удовлетворенъ за то, что не заробѣлъ передъ выводами разума? О какомъ удо-

влетвореніи можетъ быть рѣчь, пока существуютъ лѣпинцы, да еще въ такомъ подавляющемъ количествѣ? Пророческое „будетъ очень скоро“ оказалось неправдой, значитъ! И какой обидной неправдой!

Тутъ только сказывается то представляющееся на первый взглядъ парадоксальнымъ обстоятельство, что проповѣдь, какъ и многіе другіе виды духовной дѣятельности человѣка, не имѣетъ и не ищетъ цѣли внѣ самой себя. Повидимому, гр. Толстой не только словомъ, но и примѣромъ учитъ людей помогать ближнимъ. Но оказывается, что ни слово ни дѣло къ ближнимъ отношенія не имѣютъ. Статьи и книги, одна лучше другой, въ смыслѣ силы и полноты выраженія, непрерывно напоминаютъ читателямъ о безпокойномъ мыслителѣ Ясной Поляны; гр. Толстой все больше и больше укрѣпляется въ своемъ убѣжденіи, что онъ открылъ новый путь, несомнѣнно ведущій—и скоро—къ всеобщему счастью, но счастье такъ же далеко, какъ и прежде, а горе, то ужасное горе, о которомъ такъ мастерски разсказалъ намъ знаменитый художникъ, осталось все тѣмъ же и даже стало ужаснѣе. И онъ „удовлетворенъ“? И онъ уже забылъ свое „нельзя жить“, только потому, что пашетъ и пишетъ хорошія книжки, что ему снова удалось переманить на свою сторону „добро“? Ему „такъ пріятно давать“, онъ считаетъ это дѣло даванья столь важнымъ, что за нимъ можно забыть грозное „такъ нельзя жить“ и даже выступать съ суровыми, уничтожающими обличеніями противъ всѣхъ тѣхъ, кто не видитъ возможности выхода по указываемому имъ пути?! Въ „Мысляхъ, вызванныхъ перепиской“ обличитель, сравнительно, еще не такъ замѣтенъ. Гр. Толстой, вновь почувствовавъ пріятство добра, считаетъ себя еще слишкомъ богатымъ, чтобъ сердиться и негодовать. Онъ какъ будто бы надѣется лаской и добрыми словами повести за собой людей. Но люди, конечно, не пошли за нимъ. И, по мѣрѣ того, какъ уходило время и „это будетъ скоро“ затягивалось, счастливыя времена не наступали, пророчество не сбывалось,—раздраженіе гр.

Толстого все росло. Явилось неизбѣжное „кто виноватъ?“ Кто виноватъ, что простое и ясное ученіе гр. Толстого не осуществляется? Виноваты —люди и только, конечно, люди,—ибо кто-же другой, кромѣ людей, отвѣтитъ, кому можно будетъ вмѣнить въ вину, на кого можно напасть, кого упрекать? Таково уже свойство нравственности. Она не можетъ существовать безъ своей противоположности—безнравственности. Добру нужно зло, какъ объектъ мщенія, а добрымъ людямъ—злые люди, которыхъ можно призвать къ суду, хотя бы къ воображаемому суду совѣсти.

Этимъ и объясняется странная симпатія гр. Толстого къ кантовской „критикѣ практическаго разума“. Послѣдователь Евангелія, ученикъ Христа заявляетъ, что критика практическаго разума „содержитъ въ себѣ сущность нравственнаго ученія“. Уже одно происхожденіе „критики“ отнимаетъ у истиннаго христіанина право называться кантіанцемъ. „Критика практическаго разума“ является только пристройкой къ „критикѣ чистаго разума“. Кантъ нашелъ синтетическія сужденія a priori и призналъ ихъ источникомъ нашихъ знаній, условіемъ существованія науки. Такимъ способомъ, какъ онъ самъ объясняетъ въ своихъ prolegomena, онъ задержалъ скептицизмъ Юма, устанавливавшій невозможность какой бы то ни было науки. Правъ или неправъ былъ Кантъ, разрѣшивши такимъ образомъ Юмовскую задачу, но рѣшеніе показалось ему до того важнымъ, всеобъемлющимъ, что онъ, не затрудняясь, примѣнилъ его къ вопросамъ нравственной философіи.

Въ опытныхъ наукахъ насъ смущало понятіе о причинности, и мы склонны были признать его незаконнымъ дѣтищемъ опыта. Кантъ доказалъ его законное происхожденіе, отнеся его къ синтетическимъ апріорнымъ сужденіямъ, т.-е. къ такимъ, которыя предшествуютъ опыту, обусловливаютъ собою опытъ. Категорическій императивъ построенъ по образу и подобію категоріи причинности и только потому, что для полноты системы ему должно было быть такъ построеннымъ.

Дѣйствительныя противорѣчія въ области нравственной жизни для Канта уже не существовали. Предъ нимъ стояло неоконченное зданіе метафизики и его задача состояла лишь въ томъ, чтобы, не измѣняя разъ задуманнаго и на половину выполненнаго плана, докончить начатое. И явились категорическій императивъ, постулатъ свободы воли и т. д. Всѣ эти, столь роковые для насъ вопросы, имѣли для Канта лишь значеніе строительнаго матеріала. У него были незадѣланныя мѣста въ зданіи и ему нужны были метафизическія затычки: онъ не задумывался надъ тѣмъ, насколько то или иное рѣшеніе близко къ дѣйствительности, а смотрѣлъ лишь, въ какомъ соотвѣтствіи находится оно съ критикой чистаго разума—подтверждаетъ ли оно ее или нарушаетъ архитектоническую гармонію логическаго построенія. И, конечно, своей цѣли онъ достигъ. Логическое соотвѣтствіе между частями зданія ничего не оставляетъ желать: оно вполнѣ кантовское. Но тѣмъ поразительнѣе отношеніе гр. Толстого къ критикѣ практическаго разума. Что общаго между категорическимъ императивомъ или принципомъ возмездія, провозглашеннымъ Кантомъ и евангельскимъ ученіемъ? Если нѣмецкіе профессора благоговѣютъ предъ нравственнымъ ученіемъ Канта, если они восхищаются его „благородной защитой долга“—это понятно. Имъ больше всего нравится то обстоятельство, что у Канта этика по прочности и точности своихъ выводовъ приравнена къ математикѣ. Но гр. Толстой? Какъ могъ онъ примириться съ ученіемъ, гдѣ принципомъ наказанія выставляется не милосердіе, а справедливость („гордое слово справедливость“, какъ выражался онъ еще въ „Войнѣ и Мирѣ“), гдѣ говорится, что наказывать нужно не затѣмъ, чтобы оградить общество отъ опасности, и даже не затѣмъ, чтобы исправить преступника, а потому, что преступленіе совершено. Для Канта возможность подмѣнить въ данномъ случаѣ слово „затѣмъ“ словомъ „потому“ было настоящей и очень важной побѣдой: ad majorem gloriam критики чистаго разума, интересы которой для ея ав-

тора, естественно, казались самыми высшими. Но гр. Толстой говоритъ, что критика чистаго разума никуда не годится, что она „только потакаетъ царствующему злу“. Что же привлекло его къ критикѣ практическаго разума? Едва ли ему пришлось по сердцу ученіе Канта о состраданіи. Какъ извѣстно, Кантъ отвергалъ состраданіе на томъ „основаніи“, что оно только увеличиваетъ количество страданія, прибавляя къ горю страдающаго еще горе сострадающаго. Всѣ эти практическіе выводы, которые такъ подходили Канту, такъ мало гармонируютъ съ запросами гр. Толстого, по словамъ котораго—„все благо людей только въ отверженіи отъ себя и служеніи другимъ“! Что же подвигло его, такъ скупо расточающаго похвалы ученымъ—особенно знаменитымъ—возносить „критику практическаго разума“? Очевидно, одно: категорическій императивъ, обязанность служить добру, какъ добру, то самое, что когда-то Левинъ, послѣ мучительныхъ сомнѣній, отвергъ, какъ антижизненный, ложный принципъ. Теперь же для гр. Толстого этотъ принципъ дороже всего. „Служить добру“—для него это не только не бремя, а облегченіе отъ бремени. И, сверхъ того, это даетъ ему, помимо мнимыхъ обязанностей, еще п р а в о требовать отъ другихъ людей, чтобы они дѣлали то, что онъ дѣлаетъ, чтобы они жили такъ, какъ онъ живетъ. Это даетъ ему счастливую возможность выступить съ проповѣдью, открываетъ ему новые горизонты и перспективы, въ которыхъ онъ теперь болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, нуждается, послѣ того какъ „Война и Миръ“ и „Анна Каренина“ заключили собой иной періодъ его существованія, когда были другіе горизонты и перспективы. И долгъ, чистый кантовскій долгъ, въ той своей формѣ, которая не допускаетъ никакихъ сомнѣній о томъ, что „можно“ и чего „нельзя“ дѣлать, ложится въ основаніе ученія гр. Толстого, того самаго гр. Толстого, который еще недавно такъ мало вѣрилъ въ разумъ и требовалъ отъ людей, чтобы они не мѣняли легкомысленно пути своихъ отцовъ и ввѣрялись не соображеніямъ ума, воображаю-

щаго, что онъ можетъ перекроить міръ, а непосредственному инстинкту, дающему возможность „врѣзаться какъ плугъ въ землю“.

V

Быть можетъ, читателю покажутся несправедливыми и ненужными сличенія новаго ученія гр. Толстого съ его прежнимъ міровоззрѣніемъ. Кто старое помянетъ—тому глазъ вонъ. И, затѣмъ, гр. Толстой такъ торжественно отрекся отъ своего прошлаго, что укорять его въ противорѣчіи и непослѣдовательности уже совсѣмъ излишне. Онъ вѣдь самъ признается, что былъ дурнымъ. Чего же еще? Но, прежде всего, я менѣе кого бы то ни было хочу укорять гр. Толстого. Онъ былъ, есть и навсегда останется „великимъ писателемъ земли русской“. Если я заглядываю въ его прошлое, то вовсе не затѣмъ, чтобы уличать его, а единственно съ тѣмъ, чтобы лучше разъяснить себѣ смыслъ и значеніе его ученія. И, затѣмъ, меня не столько поражаетъ разница между новымъ и прежнимъ гр. Толстымъ, сколько единство и послѣдовательность въ развитіи его философіи. Правда, есть и существенныя противорѣчія, и ихъ забывать не слѣдуетъ. Гр. Толстой времени „Войны и Мира“ и „Анны Карениной“, во всякомъ случаѣ, является для насъ важнымъ свидѣтелемъ, котораго не только можно, но должно, обязательно, выслушать. Въ особенности въ виду того обстоятельства, что, какъ было показано выше, этотъ замѣчательный человѣкъ упорно и постоянно, въ теченіе всей своей жизни, высказывалъ убѣжденіе, что внѣ „добра“—нѣтъ спасенія. Всѣ измѣненія его философіи никогда не выходили за предѣлы „жизни въ добрѣ“: перемѣны происходили только въ представленіи о томъ, въ чемъ это добро, и что нужно дѣлать, чтобы имѣть право считать его на своей сторонѣ. Оттого-то въ гр. Толстомъ всегда замѣчалась такая чисто сектантская нетерпимость въ отношеніи къ чужимъ мнѣніямъ и къ отличному отъ его собственнаго образу жизни. Таково уже свойство добра. Кто не за него, тотъ противъ него.

И всякій человѣкъ, признавшій суверенность добра, принужденъ уже дѣлить своихъ ближнихъ на хорошихъ и дурныхъ, т. е. на друзей и враговъ своихъ. Правда, гр. Толстой выражаетъ постоянную готовность простить человѣка и перевести его изъ разряда дурныхъ въ разрядъ хорошихъ,—но подъ непремѣннымъ условіемъ раскаянія. „Признайся, что ты былъ неправъ, былъ дурнымъ, живи по-моему, и тогда я назову тебя хорошимъ“. Иного способа примиренія нѣтъ. Болѣе того—безъ этого условія объявляется вражда на-вѣки. Вражда, конечно, не въ обыкновенномъ смыслѣ. Гр. Толстой не ударитъ, не подведетъ подъ несчастье своего противника. Наоборотъ даже, онъ подставитъ другую щеку, когда его ударятъ въ одну, онъ приметъ и обиду, и горе, и тѣмъ больше будетъ доволенъ, чѣмъ больше нужно будетъ отдать. Одного только не отдастъ—своего права на добро. При всякомъ посягательствѣ на это право гр. Толстой проявляетъ такую же жадность, какую проявляетъ у Шекспира Генрихъ V, когда дѣло идетъ о славѣ. Оба они—и гр. Толстой и Генрихъ V—считаютъ, что въ данномъ случаѣ жадность—не порокъ и не только не можетъ быть поставлена въ упрекъ, а прямо-таки должна быть вмѣнена въ достоинство человѣку. Съ англійскаго короля, конечно, спрашивать нечего, но, когда гр. Толстой проявляетъ ту же готовность защищать свое благо, что и средневѣковый рыцарь,—это наводитъ уже на серьезныя размышленія. Та нравственность, то добро, которое, какъ мы всегда думали, стоитъ внѣ обычнаго соревнованія эгоизма, оказывается вдругъ такимъ же человѣческимъ, неотчуждаемымъ благомъ, какъ и всѣ другія, чисто языческія блага, какъ слава, власть, богатство и т. д. Изъ-за добра тоже возможна неумолимая борьба—только при посредствѣ иного оружія. Вся жизнь гр. Толстого служитъ тому примѣромъ; вся проповѣдь его служитъ тому доказательствомъ. Въ послѣднемъ своемъ произведеніи—„Что такое искусство“, гр. Толстой, уже семидесятилѣтній старикъ, вступилъ въ борьбу за свое право съ цѣлымъ поколѣніемъ людей. И какъ эта борьба вдохно-

вляетъ его! Книжка эта, вся задача которой сводится къ тому, чтобы заявить людямъ: вы безнравственны, а я нравственень, т. е. высшее благо за мной, а не за вами—написана съ мастерствомъ, подобнаго которому вы не найдете въ современной не только русской, но и европейской литературѣ. Не смотря на внѣшне спокойный, почти эпическій тонъ, страстное возбужденіе и негодованіе, направлявшія собой перо гр. Толстого, слишкомъ чувствуются даже и тѣми, которые не очень интересуются источникомъ творчества этого замѣчательнаго писателя. Бранныхъ словъ, въ которыхъ обыкновенно выражается человѣческій гнѣвъ, тамъ нѣтъ и въ поминѣ. Гр. Толстой избѣгаетъ даже открытой насмѣшки. Все его оружіе—это тонкая иронія, и затѣмъ нѣсколько на видъ безобидныхъ эпитетовъ—„дурной“, „безнравственный“, „испорченный“ и т. д. Слово „наглость“ употреблено всего одинъ разъ—въ примѣненіи къ Нитше. Казалось бы, такимъ путемъ ничего и сдѣлать нельзя, особенно въ наше время, когда слово „безнравственный“, повидимому, уже давно потеряло свою прежнюю остроту, а противоположное ему слово „добродѣтельный“, которымъ гр. Толстой не боится пользоваться для обозначенія своего и своихъ, считается почти синонимомъ комическаго. И тѣмъ не менѣе, что можетъ сдѣлать талантъ! „Что такое искусство“ является образцомъ полемической литературы. Сильнѣе сказать то, что сказалъ гр. Толстой—невозможно, даже и внѣ тѣхъ условій христіанской самообороны, въ которыя онъ добровольно себя поставилъ. Я глубоко убѣжденъ, что огромное большинство читателей, особенно русскихъ,—какъ бы далеки они ни были отъ идеаловъ гр. Толстого и какъ бы мало они не были расположены отказываться отъ своихъ преимуществъ привилегированнаго класса, съ истиннымъ наслажденіемъ прочли его новое произведеніе и даже нашли, что „въ сущности“ онъ совершенно правъ. Правда, и на этотъ разъ, какъ и до сихъ поръ было, дѣло „добра“ нисколько не подвинулось впередъ. Даже, если угодно, еще ухудшилось. Ибо, между много-

численными читателями толстовской литературы, наслаждающимися художественнымъ талантомъ великаго мастера, есть и такіе, которые на самомъ дѣлѣ хотятъ у него научиться чему-нибудь и исправить свою жизнь. И на совѣсть этихъ людей слова гр. Толстого упадаютъ свинцомъ, ихъ и безъ того невеселая жизнь совершенно отравляется грозными нападками неумолимаго судьи. „Да, мы ѣдимъ, пьемъ, одѣваемся и все беремъ у мужиковъ, которымъ ничего взамѣнъ не возвращаемъ“, повторяютъ они слова учителя, но сдѣлать, конечно, ничего не могутъ. Они идутъ въ деревню, куда зоветъ ихъ гр. Толстой и возвращаются оттуда съ новымъ запасомъ укоровъ совѣсти, ибо тамъ они ничего или почти ничего не могли сдѣлать по той программѣ, которая была выработана для нихъ въ „Ясной Полянѣ“. Отъ нихъ требовалось, чтобъ они жили среди мужиковъ и по-крестьянски; они, конечно, не могли этого сдѣлать и ушли назадъ въ городъ больные, обезсиленные, измученные, съ тяжкимъ сознаніемъ громадности числящагося за ними долга. Тѣ, которыхъ имѣлъ или, по крайней мѣрѣ, долженъ былъ имѣть въ виду опрокинуть своимъ рычагомъ гр. Толстой, и ухомъ не вели, читая его произведенія. Наоборотъ, они съ удовольствіемъ перечитывали его новыя статьи, какъ образцы душеспасительной литературы, какъ они читали Евангеліе, пророковъ. Я зналъ одного фабриканта милліонера, отдававшаго свои деньги на проценты и считавшаго себя толстовцемъ. И этотъ случай—не исключеніе. Наоборотъ, онъ типично выражаетъ собой отношеніе читающей публики къ проповѣди. Да что говорить! Вѣдь гр. Толстой не отъ своего имени проповѣдуетъ. Онъ лишь повторяетъ на современномъ языкѣ то, чему тысячи лѣтъ тому назадъ учили пророки и апостолы; но, если европейскіе народы, столько столѣтій подрядъ признававшіе Библію своей священной книгой, не исполнили ея завѣтовъ, то какъ гр. Толстой могъ серіозно надѣяться, что его слово сдѣлаетъ больше, чѣмъ слово его учителей! Очевидно его обѣщаніе „это будетъ скоро“, какъ

и весь паѳосъ его проповѣди относился не къ дѣйствительной борьбѣ со зломъ и неправдой, а къ собственнымъ, чисто личнымъ задачамъ. Ему нужно было не внѣ себя сдѣлать что-нибудь, не другимъ помочь, а себѣ найти дѣло, удовлетвореніе, котораго онъ не нашелъ въ своихъ художественныхъ трудахъ. „Война и Миръ“, носившая печать полной законченности и умиротворенія, смѣнилась, „Анной Карениной“, „Анна Каренина“, въ свою очередь казавшаяся произведеніемъ цѣльнаго и самоудовлетвореннаго духа, смѣнилась проповѣдью нравственности. Конецъ ли это? Кто можетъ предсказать? Можетъ быть у гр. Толстого еще разъ хватитъ силъ и мужества сжечь то, чему онъ теперь поклоняется, и возвѣстить новое слово? Теперь онъ отвергаетъ свою прежнюю художественную дѣятельность, которой онъ съ такой искренностью и страстностью предавался когда-то. Она ни для чего не нужна, она ничего не сдѣлала. Но проповѣдь, на которую онъ теперь разсчитываетъ, сдѣлаетъ ли больше? И какой критерій человѣческой дѣятельности выставитъ гр. Толстой тогда? Теперь онъ отвергаетъ все искусство и свое, и не свое на томъ основаніи, что оно не нужно массѣ. Но, если и проповѣдь его не облегчаетъ положенія массъ, то, слѣдовательно, и ее нужно отвергнуть?

Но, въ отношеніи къ проповѣди гр. Толстой, повидимому, не признаетъ —теперь по крайней мѣрѣ— того масштаба, которымъ онъ измѣряетъ достоинство всѣхъ другихъ родовъ литературы. Проповѣдь хороша сама по себѣ, независимо отъ результатовъ, ею приносимыхъ. Есть возможность и все искусство сдѣлать въ этомъ смыслѣ цѣннымъ. Для этого нужно ему поставить тѣ же задачи, которыя поставляетъ себѣ проповѣдь. Художникъ, который хочетъ имѣть право называться этимъ почетнымъ именемъ, долженъ въ своихъ произведеніяхъ подчиняться двумъ условіямъ: во-первыхъ, писать такъ, чтобы всѣ рѣшительно могли понимать его, а, во-вторыхъ—говорить не обо всемъ, что его занимаетъ, а лишь о такихъ вещахъ, которыя возбуждаютъ въ лю-

дяхъ добрыя чувства. Съ этой точки зрѣнія гр. Толстой осуждаетъ все современное искусство, начиная съ собственныхъ произведеній и кончая Шекспиромъ, Данте, Гете—не говоря уже о менѣе видныхъ и особенно болѣе новыхъ писателяхъ, для осужденія которыхъ онъ въ своемъ краткомъ репертуарѣ добродѣтельно-бранныхъ словъ не находитъ достаточно сильныхъ выраженій. Исключеніе онъ дѣлаетъ лишь для немногихъ произведеній немногихъ писателей. Въ этомъ ограниченномъ спискѣ достойныхъ учителей слова любопытно видѣть имя Достоевскаго—того самаго Достоевскаго, котораго и Нитше называлъ своимъ учителемъ. Собственно говоря, Достоевскій не удовлетворяетъ основному условію, предъявляемому гр. Толстымъ къ писателямъ. Мужики его не поймутъ, ибо онъ для нихъ настолько же ученъ, какъ и Шекспиръ. Повидимому, гр. Толстой считаетъ, что зато Достоевскій болѣе полно, чѣмъ какой-бы то ни было другой писатель, удовлетворяетъ второму условію: онъ учитъ добру. Въ этомъ отношеніи гр. Толстой вполнѣ правъ. Достоевскій точно во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ (исключая, отчасти, особенно, рекомендуемыхъ гр. Толстымъ „Записокъ изъ мертваго дома“) никогда не забываетъ учить добру. Но, чѣмъ же тогда могъ онъ снискать себѣ расположеніе Фридриха Нитше, для котораго добро было приблизительно тѣмъ же, чѣмъ дьяволъ для гетевской Гретхенъ? Понять—за что Нитше и гр. Толстой цѣнили Достоевскаго—значитъ найти ключъ къ объясненію ихъ столь противоположныхъ, на видъ, философій. Поэтому мы остановимся на одномъ изъ самыхъ характерныхъ и наиболѣе прославившихся произведеній Достоевскаго, „Преступленіи и Наказаніи“.

VI

Основная идея „Преступленія и Наказанія“ почти уже высказана въ самомъ названіи романа. Сущность ея въ томъ, что нарушенія „правила“ ни въ какомъ случаѣ дозволено быть не можетъ—даже тогда, когда человѣкъ

рѣшительно не понимаетъ, для какой надобности это правило придумано.

Раскольниковъ, бѣдный студентъ, рѣшается убить уже почти неживую старуху, чтобъ добыть средства для устроенія своей жизни. Раскольниковъ человѣкъ даровитый, талантливый, полный жизни и желанія найти себѣ соотвѣтствующую своимъ силамъ дѣятельность. Всѣ мечтанія его по душѣ и самому Достоевскому, у котораго не было, какъ у гр. Толстого, убѣжденія, что всякаго рода интеллигентный трудъ—безнравственъ. Наоборотъ, если бы случайно Раскольниковъ получилъ дозволенными закономъ способами нужныя ему для занятія средства, Достоевскій благословилъ бы всѣ его планы. Но эти средства дозволеннымъ способомъ достать невозможно. Нужно выбирать одно изъ двухъ: или отказаться отъ своего будущаго и погубить жизнь за черной, безсмысленной работой, въ борьбѣ изъ-за куска насущнаго хлѣба, или открыть себѣ путь къ настоящей (по мнѣнію Достоевскаго „настоящей“) жизни при посредствѣ преступленія, убійства. Половина романа наполнена размышленіями Раскольникова, борющагося противъ живущаго въ немъ представленія о недозволенности убійства. Съ одной стороны, внутренній голосъ говоритъ ему: нельзя убивать; съ другой стороны, тысячи соображеній являются къ нему въ доказательство того, что этого голоса слушать не надо, что убить—можно. Въ отысканіи этихъ соображеній Раскольниковъ (т. е. Достоевскій) неисчерпаемъ—это и называется „психологіей преступника“, этому романъ обязанъ своей славой. Основная, впрочемъ, тема одна: убійство безчисленное количество разъ совершалось людьми—и безнаказанно. Все дѣло не въ томъ, что „нельзя“ убивать, размышляетъ Раскольниковъ, —но что это „нельзя“ связываетъ только маленькихъ, слабыхъ людей. Большіе же и сильные люди не боятся этого формальнаго препятствія и, когда оно задерживаетъ ихъ въ намѣченныхъ цѣляхъ,—сметаютъ его съ пути. Примѣръ—Наполеонъ. Въ такомъ духѣ написана была Раскольнико-

вымъ и статья для журнала. Приблизительно эти же соображенія заставляютъ его рѣшиться и на убійство. Я не знаю, нужно ли говорить, что Раскольниковъ—фантастическій убійца и что при его настроеніяхъ совершить убійство—дѣло невозможное. Мнѣ кажется, что и самъ Достоевскій не сталъ бы этого отрицать. И въ этомъ именно весь интересъ романа. Настоящій убійца и тѣ способы, которыми онъ преодолѣваетъ заповѣдь „не убій“ —Достоевскаго совсѣмъ не занимали. Оттого-то и жертва для Раскольникова подобрана такая: полуживая старуха, со дня на день готовящаяся отдать Богу душу. Это именно и нужно было Достоевскому. Онъ стремился поставить своего героя въ такое положеніе, при которомъ его преступленіе—будетъ преступленіемъ только съ формальной стороны. Мнѣ кажется, что, если-бъ онъ могъ, не запутывая слишкомъ романа, такъ сдѣлать, чтобъ Раскольниковъ ударилъ топоромъ старуху уже послѣ того, какъ она умерла раньше естественной смертью онъ бы это сдѣлалъ—и потомъ все-таки заставилъ бы Раскольникова угрызаться, отдать себя въ руки правосудія, пойти въ каторгу и т. д. Предъ Достоевскимъ вопросъ сталъ такъ: кто правъ, кто лучше—тѣ ли, которые (какъ онъ самъ, Достоевскій) держатся правила, смыслъ котораго имъ непонятенъ, или тѣ, которые по тѣмъ или инымъ побужденіямъ осмѣливаются нарушать это правило. Отвѣтомъ и является вторая часть „Преступленія и Наказанія“, въ которой Раскольниковъ смиряется—и не въ силу того, что ему жаль своей жертвы (жертва, обѣ жертвы не играютъ никакой роли въ романѣ, и для Достоевскаго, какъ и для Раскольникова имѣютъ только внѣшнее значеніе преграды, черты, дальше которой человѣкъ не долженъ идти), а потому, что онъ постигъ, что нельзя преступать правило. Чтобъ привести Раскольникова къ этому сознанію, Достоевскій придумываетъ для него самыя ужасныя пытки.

Жестокій талантъ! Но откуда пришла къ нему эта жестокость? Развѣ Достоевскій иначе созданъ, чѣмъ всѣ люди? Здѣсь та же исторія, что и у гр. Толстого, только

на иной манеръ. Раскольникова (фантастическаго, никогда не существовавшаго убійцу—повторяю это) нужно заставить покориться правилу, чтобъ изъ покорности правилу создать свою добродѣтель. Достоевскій, какъ и гр. Толстой, готовъ подставить щеку ближнему,—но добродѣтели своей, своего права на добродѣтель—не только не уступитъ, но отниметъ у ближняго. И въ борьбѣ за это право—онъ неумолимъ. Даже наоборотъ—чѣмъ больше онъ можетъ проявить жестокости, чѣмъ сильнѣе можетъ наказать онъ свою жертву, тѣмъ полнѣе его торжество. Но и этого ему мало; онъ не довольствуется тѣмъ, что мучаетъ жертву—онъ вырываетъ у нея признаніе въ ея неправотѣ, въ ея виновности, преступности. Приведу нѣсколько словъ, въ которыхъ выльется весь Достоевскій: „Странно было видѣть, какъ въ этой маленькой комнаткѣ сошлись за чтеніемъ вѣчной книги убійца и распутница". Убійца—Раскольниковъ, распутница—Соня. Зачѣмъ понадобилось Достоевскому, не выпускавшему изъ рукъ Евангелія—клеймить этими ужасными именами изголодавшагося студента и содержавшую своимъ позоромъ семью Соню? Это онъ въ Евангеліи прочелъ? Такъ онъ читалъ Евангеліе? Нѣтъ, ему нужно было иное! Ему нужны были для себя особыя права и привиллегіи, ему, подпольному человѣку, не умѣвшему не посторониться при встрѣчѣ съ офицеромъ и тщетно надѣявшемуся превзойти въ величіи Наполеона—и онъ ставилъ себѣ въ заслугу свою готовность не преступать правило, свою нравственность, которую онъ придумалъ въ долгія, безсонныя ночи, проведенныя въ борьбѣ съ соблазнами недоступной ему силы. Въ результатѣ—„психологія", двѣ психологіи даже. Съ одной стороны, первая часть „Преступленія и Наказанія", въ которой Раскольниковъ, за одно со своимъ творцомъ, признаетъ свою неспособность къ преступленію—слабостью; съ другой стороны—вторая часть, гдѣ Достоевскій уже одинъ, безъ Раскольникова, находитъ для себя въ готовности остаться нравственнымъ новый ореолъ, источникъ славы и гордости.

И тогда только, когда сомнѣнія въ своей слабости побѣждены, Достоевскій начинаетъ торжествовать побѣду правила надъ Раскольниковымъ, какъ свою собственную побѣду. И, чѣмъ больше униженъ, опозоренъ, уничтоженъ Раскольниковъ,—тѣмъ яснѣе на душѣ у Достоевскаго; подъ конецъ, когда Раскольниковъ уже лишенный всѣхъ, не только юридическихъ, но и нравственныхъ правъ состоянія, кается въ совершенномъ, Достоевскій даруетъ ему душевный миръ, подъ условіемъ, что всѣ оставшіеся ему дни онъ проведетъ въ каторгѣ, какъ кающійся, не смѣющій надѣяться на земное счастье „убійца“ въ обществѣ „распутницы“ Сони, тоже искупающей добрыми дѣлами несчастіе своей молодости. „Жестокій талантъ“ теперь понятенъ. Понятно теперь, почему и Нитше и гр. Толстой пришли поклониться ему. Нитше близки были подпольныя разсужденія первой части „Преступленія и Наказанія“. Онъ и самъ, съ тѣхъ поръ, какъ заболѣлъ безнадежно, могъ видѣть міръ и людей только изъ своего подполья и размышленіями о силѣ замѣнять настоящую силу. Онъ простилъ охотно Достоевскому вторую часть—наказаніе за первую—преступленіе. Гр. Толстой—обратно: за вторую часть—простилъ первую. Ибо та „психологія“, которая грозитъ подорвать обязательность правила, навѣрное не по душѣ гр. Толстому. Это все „испорченность“, „развратность“, это все „пакостныя идеи“, придуманныя „праздной культурной толпой“ (все слова гр. Толстого—если собрать ихъ вмѣстѣ едва-ли отъ нихъ повѣетъ смиреніемъ, да и отдѣльно взятыя, особенно въ томъ количествѣ, которое допускаетъ въ послѣдней своей книгѣ гр. Толстой—они достаточно говорятъ о „кротости“ знаменитаго писателя) — за это похвалить нельзя. Но Раскольниковъ былъ наказанъ, у Раскольникова было исторгнуто признаніе вины, прощеніе было дано подъ условіемъ жизни въ добрѣ—развѣ этого недостаточно, чтобъ заслужить право на званіе народнаго учителя?

Здѣсь я позволю себѣ небольшое отступленіе, которое, въ виду задачи этой книги, вѣроятно, окажется не

лишнимъ. Я хочу сравнить міросозерцаніе Шекспира, того самаго Шекспира, котораго не признаетъ гр. Толстой, съ міросозерцаніемъ Достоевскаго. Сравнить не во всемъ объемѣ—а только отчасти: въ ихъ пониманіи зла и преступленія. У Достоевскаго есть Раскольниковъ, у Шекспира—Макбетъ. Сюжетъ—тождествененъ. И оба писателя—христіане. Только Шекспиръ никогда не ставитъ на видъ этого обстоятельства, Достоевскій же сдѣлалъ изъ этого свое литературное profession de foi.

Больше всего поражаетъ при сравненіи „Макбета“ съ „Преступленіемъ и Наказаніемъ“ отношеніе ихъ авторовъ къ жертвамъ убійства. У Достоевскаго обѣ убитыя женщины не играютъ никакой роли. Онъ бы, подчеркиваемъ это обстоятельство, оставилъ ихъ жить или воскресилъ бы, если бы могъ, до такой степени фактъ ихъ смерти безразличенъ для него. Онѣ введены въ романъ лишь потому, что нуженъ же хоть какой-нибудь объектъ для Раскольникова. Но смыслъ и значеніе преступленія, съ точки зрѣнія Достоевскаго, не въ томъ, какое зло сдѣлалъ Раскольниковъ своимъ жертвамъ, а въ томъ, какое зло сдѣлалъ онъ своей душѣ. Въ этомъ отношеніи и авторъ и герой „Преступленія и Наказанія“ думаютъ и чувствуютъ совершенно одинаково. Достоевскій почти не говоритъ ни о старухѣ ни о дѣвушкѣ—хотя говоритъ о многомъ, что никакого отношенія къ роману не имѣетъ, хотя часто является многословнымъ до утомительности; Раскольниковъ, въ свою очередь, почти не вспоминаетъ объ убитыхъ имъ, хотя фантазія его непрерывно рисуетъ ему самые разнообразные ужасы. У Шекспира мы видимъ совсѣмъ иное. Макбетъ, дѣйствительно, только и размышляетъ, что о своей душѣ. Для него весь ужасъ совершаемыхъ имъ поступковъ сводится только къ личной отвѣтственности. Онъ „погубилъ на-вѣки свою душу, онъ „не можетъ молиться“, не можетъ произнести аминь, когда другіе говорятъ „Господи помилуй“ — и это мучительное душевное состояніе застилаетъ предъ нимъ весь остальной міръ, всѣхъ людей. Онъ такъ глубоко погрузился въ кровь,

что ему все равно не стоитъ возвращаться. Онъ чувствуетъ, что отрѣзанъ отъ всего міра, и видитъ во всѣхъ людяхъ, живыхъ и мертвыхъ, только враговъ, ищущихъ погубить его душу. Но Шекспиръ смотритъ на Макбета своими собственными глазами. Онъ ни на минуту не забываетъ, что не только въ душѣ и ея погибели дѣло, когда рѣчь идетъ о злѣ и преступленіи. Наоборотъ, его столько же занимаютъ тѣ несчастія, которыя Макбетъ приноситъ окружающимъ его людямъ, сколько и психологія преступной души. Вотъ въ какихъ словахъ Россе описываетъ положеніе Шотландіи:

Страна несчастная! Увы ей страшно
И оглянуться на себя! Для насъ
Она не мать, а темная могила.
Улыбки тамъ не встрѣтишь на лицѣ;
На стонъ и вопль, звучащій безъ умолку,
Никто не обращаетъ тамъ вниманья,
Печаль слыветъ за пошлое безумство.
При мрачномъ звукѣ похоронной мѣди
Едва-ль кто вздумаетъ спросить: по комъ?
И люди мрутъ, съ болѣзнью не знакомясь,
Какъ вянетъ сорванный цвѣтокъ.

Шекспиръ, далѣе, изображаетъ ужасную сцену избіенія семьи Макдуффа. Какое страшное впечатлѣніе производитъ на читателя нѣмой ужасъ Макдуффа, узнавшаго о гибели своихъ малютокъ и жены. Кто не помнитъ обращенныхъ къ Макдуффу словъ Малькольма:

Творецъ небесный!
Макдуффъ, не надвигай на брови шляпу!

И, затѣмъ, восклицаніе Макдуффа о Макбетѣ: „злодѣй бездѣтенъ“. Ничего подобнаго у Достоевскаго мы не видимъ. Преступленіе его заинтересовало, могло заинтересовать только съ одной стороны: со стороны своего значенія для души преступника. Онъ подошелъ къ своему Раскольникову съ прямо противуположной стороны, чѣмъ Шекспиръ къ Макбету. Его занималъ вопросъ, какъ могутъ, какъ смѣютъ дѣлать другіе люди то, чего онъ, Достоевскій, не можетъ, не смѣетъ дѣлать. Оттого-то онъ и убійцу подобралъ такого, который

учится въ университетѣ, пишетъ статьи, не знаетъ сегодня, что будетъ ѣсть и будетъ ли вообще ѣсть завтра. Съ этимъ — онъ зналъ заранѣе — психологія справится въ желательномъ смыслѣ. Т.-е. убійство навѣрное раздавитъ и уничтожитъ его: его ли это дѣло? А выводъ получится такой: въ подчиненіи правилу высшій смыслъ жизни; Достоевскій правилу подчиняется, слѣдовательно—смыслъ за нимъ. У Шекспира нѣтъ и слѣда такихъ настроеній. Для него преступленіе становится преступленіемъ только въ силу того зла, которое онъ причиняетъ людямъ—Дункану, Макдуффу, его дѣтямъ, всей Шотландіи. У него нѣтъ и не можетъ быть вопроса о томъ, хорошо ли самому стать убійцей и не прибавитъ ли къ его собственному душевному величію то обстоятельство, что онъ убьетъ кого-нибудь. Болѣе, еслибы онъ и убѣдился въ томъ, что убійство можетъ прибавить что-нибудь, даже очень много къ величію его души,—онъ все-таки не убилъ бы. Если бы размышленія выяснили ему, что такого правила – „не убій“— нѣтъ или что это правило для ничтожныхъ и маленькихъ людей, а для большихъ, великихъ людей есть другое правило: убивай—онъ все таки не убилъ бы. Ибо, кромѣ разсчетовъ, выгодъ своей души, у него есть еще пониманіе счастья и несчастья другихъ людей — малютокъ Макдуффа, короля Дункана и т. д. Если бы предъ нимъ „убій“ возстало бы въ томъ всеоружіи грозной повелительности, въ какомъ предъ Макбетомъ и Раскольниковымъ встало „не убій“—онъ все-таки не убилъ бы. Для Достоевскаго, очевидно, Шекспировское отношеніе къ преступленію было совершенно недоступнымъ. У него весь вопросъ сводился лишь къ тому, какое правило лучше вооружено—„убій“ или „не убій“. Но и въ этомъ вопросѣ онъ не былъ безпристрастнымъ судьей. Онъ всю силу своего огромнаго таланта направилъ на поддержаніе престижа „не убій“ главнымъ образомъ потому, что онъ все равно не могъ быть Наполеономъ. Оттого-то онъ и душитъ своего Раскольникова, оттого-то онъ его отпускаетъ только подъ условіемъ признанія

своей „вины“. У Шекспира нѣтъ и слѣда такого отношенія къ Макбету. Едва-ли нужно говорить, что красокъ у Шекспира для изображенія мукъ угрызенія совѣсти у преступника много больше, чѣмъ у Достоевскаго, что въ коротенькомъ „Макбетѣ“ полнѣе и ярче обрисованы настроенія и терзанія героя, чѣмъ въ длинномъ „Преступленіи и Наказаніи“. Вспомните хоть эти слова несчастнаго убійцы:

По сводамъ замка
Неумолкаемо носился вопль:
„Гламисъ зарѣзалъ сонъ, за то отнынѣ
Не будетъ спать его убійца, Кавдоръ,
Не будетъ спать его убійца, Макбетъ.

Отъ этого и подобныхъ восклицаній Макбета вѣетъ истинно средневѣковымъ ужасомъ предъ неизбѣжностью страшнаго суда. Шекспиръ понималъ и умѣлъ обрисовывать самыя ужасныя трагическія настроенія, не дѣлая ни малѣйшія напряженія, не прибѣгая къ искусственнымъ пріемамъ, не выматывая душу у читателя вѣчнымъ повтореніемъ мучительныхъ длиннотъ. И, тѣмъ не менѣе, какая разница между Шекспиромъ и Достоевскимъ и здѣсь въ изображеніи психологіи убійцы! Шекспиръ не только не ищетъ „погубить“ душу Макбета, не только не хочетъ раздавить, уничтожить своимъ краснорѣчіемъ и безъ того уже уничтоженнаго и раздавленнаго человѣка, но, наоборотъ, онъ весь, цѣликомъ на сторонѣ Макбета—и безъ всякихъ условій, ограниченій и требованій, безъ которыхъ Достоевскій и всѣ почитатели „добра“ ни за что не отпустятъ своихъ преступниковъ. И Шекспиръ ни на минуту не боится, что такимъ отношеніемъ онъ потакаетъ убійцѣ или поощряетъ убійство. И, еще менѣе думаетъ о томъ, что его нравственное величіе потеряетъ, если за Макбетомъ останутся человѣческія права, если преступникъ будетъ смѣть думать о себѣ, о своемъ спасеніи, а не о покаяніи; у Шекспира, по мѣрѣ развитія трагедіи, Макбетъ не только не уступаетъ, не склоняетъ повинной головы предъ добродѣ-

тельнымъ авторомъ, но, наоборотъ, все болѣе и болѣе ожесточается съ того момента, когда онъ понялъ или вообразилъ себѣ, что внутренній судья ни за что не проститъ ему „одного удара“! И это ожесточеніе не вызываетъ у Шекспира вражды къ непокорному; оно кажется поэту естественной, справедливой реакціей противъ безмѣрной притязательности „категорическаго императива“, осмѣливающагося предавать вѣчной анаѳемѣ человѣка за „одинъ ударъ“. Для Шекспира Макбетъ не перестаетъ быть человѣкомъ, ближнимъ послѣ рокового событія и, несмотря на то, что Шотландія обращена озвѣрѣвшимъ королемъ въ темную могилу, несмотря на то, что тысячи жертвъ вопіютъ къ небу о справедливости, Шекспиръ не считаетъ ни нужнымъ, ни возможнымъ заставить самого Макбета признать постигшую его кару законной. Чѣмъ безжалостнѣе преслѣдуютъ Макбета фантастическіе призраки, тѣмъ энергичнѣе онъ готовится къ отпору, и пока есть у него физическія силы—онъ не смиряется. Нужно ли говорить о томъ, насколько психологически Шекспиръ правѣе Достоевскаго? Ибо какъ бы ужасно не было прошлое человѣка, какъ бы онъ не раскаявался въ своихъ дѣлахъ—никогда онъ, въ глубинѣ своей души, не признаетъ, не можетъ признать себя справедливо отверженнымъ людьми и Богомъ. Конечно, предъ непобѣдимыми внутренними и внѣшними препятствіями каждый въ концѣ концовъ смиряется. Но никто не призна́етъ и не признаѐтъ, что вѣчное осужденіе справедливо, что всѣ права его потеряны, что онъ зависитъ отъ милости и великодушія другихъ людей, соглашающихся на извѣстныхъ условіяхъ даровать ему прощеніе. Гигантская борьба Макбета съ живыми и мертвыми врагами служитъ этому безподобной иллюстраціей. Не всякій будетъ смѣлъ какъ Макбетъ, не всякій рѣшится до конца поступать и говорить по-своему, отъ своего имени. Обыкновенный, средній человѣкъ, при подобныхъ обстоятельствахъ, сдается: онъ признаетъ, что травля категорическаго императива законна, что онъ дѣйствительно заслуживаетъ

какого угодно вѣчнаго осужденія. Но это—притворство, ложь, посредствомъ которой онъ ищетъ избѣжать именно той участи, которой онъ на словахъ признаетъ себя достойнымъ. Въ выборѣ сюжета сказались черты обоихъ художниковъ. Шекспиръ заинтересовался непокорившимся и дѣйствительно ужаснымъ злодѣемъ, Достоевскій—покорившимся и безобиднѣйшимъ убійцей. Шекспиръ искалъ оправдать человѣка, Достоевскій — обвинить. Кто изъ нихъ истинный христіанинъ? И до какой степени по основной своей идеѣ (я уже не говорю о выполненіи) „Преступленіе и Наказаніе“ уступаетъ „Макбету“! Межъ этими двумя художественными произведеніями, помимо степени дарованія ихъ творцовъ, существенная разница въ основныхъ задачахъ. У Достоевскаго — на первый планъ выдвигается проповѣдь. У Шекспира — вопросъ чисто философскаго характера. Достоевскому нужно внушить людямъ, что можно служить „добру“ и „злу“, что онъ самъ служитъ „добру“ и потому—очень достойный человѣкъ, а другіе служатъ „злу“ и—недостойные люди. У Шекспира вопросъ о личномъ достоинствѣ въ сторонѣ. Предъ нимъ—ужасное явленіе: преступленіе. Ужасное вдвойнѣ: по тѣмъ несчастіямъ, которыя оно приноситъ людямъ и по вѣчному проклятію, которому подвергается преступникъ.

Ему нужно понять, объяснить себѣ, что это значитъ: дѣйствительно ли наши представленія о сущности нашей преступной души правильны? Онъ не хочетъ великодушно поступить со своимъ злодѣемъ—даровать ему прощеніе въ доказательство собственной нравственной высоты. Онъ добивается найти право Макбета и потому не отнимаетъ у него силъ для борьбы. Прочитавши „Преступленіе и Наказаніе“, вы остаетесь подъ мучительнымъ впечатлѣніемъ, что выслушали проповѣдь безгрѣшнаго праведника, направленную противъ многогрѣшнаго мытаря. Прочитавши „Макбета“—въ которомъ автора какъ будто и нѣтъ—вы выносите убѣжденіе, что нѣтъ такой силы, которая могла, хотѣла бы уничтожить человѣка. Говоря словами Евангелія: „нѣтъ

воли вашего Отца небеснаго, чтобы погибъ одинъ изъ малыхъ сихъ“.

Болѣе подробно останавливаться на Шекспирѣ и Достоевскомъ программа настоящей работы не дозволяетъ. Но и приведеннаго, кажется, достаточно для того, чтобы выяснить, въ чемъ существенная разница между философіей и проповѣдью, и кому нужна проповѣдь, кому философія.

VII

У насъ для обозначенія происшедшей въ творчествѣ гр. Толстого перемѣны говорятъ, что онъ отъ художественной дѣятельности перешелъ къ философіи; объ этомъ очень жалѣютъ, ибо предполагается, что гр. Толстой, будучи отличнымъ, геніальнымъ художникомъ, какъ мыслитель, философъ—очень плохъ. Доказательствомъ и повидимому, очень рѣшительнымъ въ пользу такого предположенія, является послѣсловіе къ „Войнѣ и Миру“. Оно написано неясно, запутано. Гр. Толстой все топчется на одномъ мѣстѣ среди неимѣющихъ значенія общихъ фразъ. Это, пожалуй, справедливо. Послѣсловіе написано не хорошо. Но „Война и Миръ“? Развѣ „Война и Миръ“ не истинно философское произведеніе, написанное художникомъ? Развѣ послѣсловіе не есть только плохо сдѣланный планъ къ чудесному зданію? Какимъ же образомъ могло случиться, что архитекторъ, проявившій столько искусства при возведеніи постройки, не могъ нарисовать ея плана? Повидимому, не въ архитекторѣ дѣло, а въ самой задачѣ. Повидимому, послѣсловіе плохо не отъ того, что гр. Толстой не владѣетъ циркулемъ и линейкой, а отъ того, что циркуль и линейка не пригодны для выполненія задачи. Отнявъ у себя право пользоваться красками, гр. Толстой этимъ самымъ обрекъ себя на непроизводительную работу, ибо смыслъ всей философіи „Войны и Мира“ въ томъ и заключается, что человѣческая жизнь находится за предѣлами, поставляемыми намъ всею совокупностью имѣющихся въ языкѣ отвлеченныхъ словъ. Несомнѣнно,

что попытка гр. Толстого пояснить „Войну и Миръ“ посредствомъ добавочныхъ разсужденій могла только испортить дѣло. Онъ первой частью своего эпилога закончилъ все, что имѣлъ сказать; вся его философія въ четырехъ томахъ этого романа вылилась съ такой ясностью и полнотой, дальше которыхъ онъ не могъ уже идти. Князь Андрей, Пьеръ, Наташа, старикъ Болконскій, княжна Марья, Ростовы, Бергъ, Долоховъ, Каратаевъ, Кутузовъ—всѣхъ не перечесть—развѣ они намъ не разсказали все, что видѣлъ и какъ видѣлъ въ жизни гр. Толстой? Развѣ пребываніе въ плѣну Пьера, старческая прозорливость Кутузова, трагическая смерть кн. Андрея, огорченія и радости Наташи, резиньяція Каратаева, стойкость русскихъ солдатъ, непритязательное, тихое геройство безвѣстныхъ офицеровъ, массовое бѣгство жителей изъ городовъ—развѣ все это, съ такой законченностью и яркостью изображенное гр. Толстымъ, не включаетъ въ себя „вопросы“ о свободѣ воли, о Богѣ нравственности, историческомъ законѣ? Не только включаетъ, само собою разумѣется,—но болѣе того, обо всемъ этомъ нельзя иначе говорить, какъ въ формѣ художественнаго произведенія. Всякій другой способъ обязательно поведетъ къ тому, образцомъ чего является послѣсловіе. Въ особенности у художника, т.-е. у человѣка, который знаетъ, какъ много нужно сказать и чувствуетъ какъ мало говорятъ линіи. Поэтому онъ пытается еще разъ и еще разъ на различные лады повторить уже сказанное, ничего, конечно, выяснить не можетъ и приводитъ насъ къ сознанію, что онъ—не философъ. Но, это, конечно, наше заблужденіе. Гр. Толстой въ „Войнѣ и Мирѣ“ философъ въ лучшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова, ибо онъ говоритъ о жизни, изображаетъ жизнь со всѣхъ наиболѣе загадочныхъ и таинственныхъ сторонъ ея. Если послѣсловіе ему не удалось—то только потому, что онъ искалъ недостижимаго. Любой критикъ написалъ бы лучшее заключеніе къ „Войнѣ и Миру“, чѣмъ самъ гр. Толстой, ибо критикъ, не чувствуя такъ, какъ самъ художникъ, всей ширины

задачи, держался бы въ предѣлахъ обычныхъ представленій и потому достигъ бы извѣстной, очень относительной, логической закругленности и законченности, которая удовлетворила бы читателей. Но это значило бы, что критикъ—не лучшій, а худшій философъ, чѣмъ гр. Толстой, что онъ не чувствуетъ потребности передать все свое впечатлѣніе отъ жизни и потому превосходно владѣетъ циркулемъ и линейкой, доволенъ своей работой и удовлетворяетъ своихъ читателей. Сказать про гр. Толстого, что онъ—не философъ, значитъ отнять у философіи одного изъ виднѣйшихъ ея дѣятелей. Наоборотъ, философія должна считаться съ гр. Толстымъ, какъ съ крупной величиной, хотя его произведенія и не имѣютъ формы трактатовъ и не примыкаютъ къ какой-нибудь изъ существующихъ школъ. Какъ было уже указано выше, вся творческая дѣятельность его была вызвана потребностью понять жизнь, т.-е. той именно потребностью, которая вызвала къ существованію философію. Правда, онъ не касается нѣкоторыхъ теоретическихъ вопросовъ, которые мы привыкли встрѣчать у профессіональныхъ философовъ. Онъ не говоритъ о пространствѣ и времени, монизмѣ и дуализмѣ, о теоріи познанія вообще. Но не этимъ опредѣляется право называться философомъ. Всѣ эти вопросы должны быть выдѣлены въ самостоятельныя дисциплины, служащія лишь основаніемъ для философіи. Собственно же философія должна начинаться тамъ, гдѣ возникаютъ вопросы о мѣстѣ и назначеніи человѣка въ мірѣ, о его правахъ и роли во вселенной и т. д., т.-е. именно тѣ вопросы, которымъ посвящена „Война и Миръ“.

„Война и Миръ“—истинно философское произведеніе; въ ней графъ Толстой допрашиваетъ природу за каждаго человѣка, въ ней преобладаетъ еще гомеровская или шекспировская „наивность“, т.-е. нежеланіе воздавать людямъ за добро и зло, сознаніе, что ответственность за человѣческую жизнь нужно искать выше, внѣ насъ. Только въ отношеніи къ Наполеону не выдержанъ общій тонъ, характеризующій „Войну и Миръ“.

Наполеонъ для гр. Толстого съ начала до конца остается врагомъ—и врагомъ, нравственно виноватымъ. И не за тѣ бѣдствія, которыя онъ причинилъ Россіи и Европѣ: это ему прощается. Гр. Толстого возмущаетъ только притязательность императора, его увѣренность, что онъ въ теченіе 15 лѣтъ дѣлалъ исторію. „Человѣческое достоинство говоритъ мнѣ, что всякій изъ насъ, если не больше, то никакъ не меньше человѣкъ, чѣмъ всякій Наполеонъ". слѣдовательно, не можетъ быть, чтобъ онъ вершалъ судьбы народовъ. Онъ самъ—„только ничтожнѣйшее орудіе въ рукахъ судьбы". Еще съ Соней гр. Толстой не можетъ примириться за ея постылое житье: въ то время постылые, ни себѣ ни другимъ не нужные люди смущали его безсмысленнымъ своимъ существованіемъ. Но затѣмъ—онъ никого не хочетъ и не находитъ нужнымъ винить. Когда Наташа говоритъ Пьеру, что желала бы только пережить все сначала (смерть князя Андрея) и „больше ничего", Пьеръ съ жаромъ перебиваетъ ее: „неправда, неправда, закричалъ онъ. Я не виноватъ, что я живъ и хочу жить; и вы тоже". Такъ тогда разрѣшалъ гр. Толстой навязчивые вопросы совѣсти, эти вѣчные „виноватъ", которые загораживали путь его лучшимъ героямъ. „Я живъ и хочу жить"—было тогда отвѣтомъ, предъ которымъ смирялись даже такія щекотливыя затрудненія, какъ то, что Наташа была невѣстой друга Пьера, и что этотъ другъ умеръ всего нѣсколько мѣсяцевъ назадъ на ея рукахъ. И всякій, кто жилъ, какъ бы онъ ни жилъ, даже безнравственно, пошло, грубо, не вызывалъ негодованія гр. Толстого. Къ Бергу, Друбецкому, князю Василію онъ относится съ добродушной, веселой насмѣшкой; къ злодѣю Долохову и крѣпостнику старику Болконскому—съ уваженіемъ; къ Эленъ—какъ къ superbe animal и почти такъ же къ ея, во всемъ на нее похожему, брату Анатолю. Все живое живетъ по-своему и имѣетъ право на жизнь. Одни—лучше; другіе—хуже; одни маленькіе; другіе—крупные люди; но клеймить, отлучать отъ Бога никого не нужно. Спорить нужно только съ Наполеонами, желающими отнять у

насъ человѣческое достоинство, да съ Сонями, такъ неудачно втирающимися своими безрезультатными добродѣтелями въ богатую и полную жизнь. Съ какой любовью описываетъ гр. Толстой своего Николая Ростова! Я не знаю другого романа, гдѣ бы столь безнадежно средній человѣкъ былъ изображенъ въ столь поэтическихъ краскахъ. Даже разбитый о физіономію мужика камень кольца не роняетъ его въ глазахъ гр. Толстого. Если бы теперь Николай попался подъ руку гр. Толстому! Какое бы грозное обвиненіе произнесъ бы онъ! Я уже не говорю о Пьерѣ и кн. Андреѣ. Они, вдобавокъ къ тому, что сами не работаютъ, еще умствуютъ и считаютъ себя высшими людьми! Несомнѣнно, гр. Толстому необходимо было отречься отъ своихъ прежнихъ произведеній, особенно отъ „Войны и Мира“. Вопросъ лишь въ томъ—возможно ли это, достаточно ли признать свою прежнюю философію, прежнюю жизнь дурной, чтобъ навсегда порвать съ ней. Цѣлая жизнь не опровергается нѣсколькими книжками. Гр. Толстому никогда не развязаться съ своимъ прошлымъ, такъ блестяще воплотившимся въ его двухъ большихъ романахъ. Оно навсегда будетъ свидѣтельствовать—и самымъ уничтожающимъ образомъ—противъ него. Что̀ бы ни сталъ онъ проповѣдовать теперь о „нравственномъ просвѣтѣ“—онъ всегда будетъ слышать въ устахъ другихъ свой собственный голосъ, тридцать лѣтъ тому назадъ такъ искренно и страстно восклицавшій: „Я не виноватъ, что живъ и хочу жить, и что вы теперь, взявъ уже отъ жизни все то хорошее, о чемъ вы такъ краснорѣчиво разсказали намъ въ „Войнѣ и Мирѣ“, ищете чего-то другого, можетъ быть, тоже хорошаго и для васъ необходимаго, но мнѣ чуждаго, ненужнаго и непонятнаго. „Пустоцвѣтъ“ Соня—вы ее забыли?“

Иначе говоря, если бы 30 лѣтъ тому назадъ гр. Толстому предъявили бы его собственныя послѣднія произведенія—онъ бы тогда отъ нихъ отрекся, какъ теперь отрекся отъ „Войны и Мира“, хотя и въ то время онъ

всегда хлопоталъ о томъ, чтобы жить „въ добрѣ“. Отреченіе—противъ отреченія. Которое изъ нихъ принять? И болѣе всего онъ отказался бы отъ своего „Что такое искусство“.

Мы уже сказали, что въ этой книгѣ собственно искусству отведено второстепенное мѣсто. Это уже видно по началу ея.

Гр. Толстой разсказываетъ о томъ, какъ ему однажды пришлось присутствовать на репетиціи плохой оперы. По этому поводу онъ дѣлаетъ разсчеты, сколько должна была стоить эта нелѣпая затѣя. Оказывается, что очень дорого. Затѣмъ онъ сообщаетъ, что капельмейстеръ грубо бранилъ хористовъ и статистовъ, что хористки были неприлично обнажены, а танцовщицы дѣлали сладострастныя движенія. Огромные расходы на постановку дурныхъ произведеній искусства и безобразное отношеніе старшихъ къ младшимъ, безправнымъ сотрудникамъ по общему дѣлу возводятся гр. Толстымъ въ правило и предъявляются къ искусству вообще, какъ первый тяжелый и серьезный обвинительный пунктъ. Что могутъ отвѣтить на это составители драмъ и симфоній? „Хорошо было бы, если бы художники все свое дѣло дѣлали сами, а то имъ всѣмъ нужна помощь рабочихъ не только для производства искусства, но и для ихъ большей частью роскошнаго существованія, и, такъ или иначе, они получаютъ ее или въ видѣ платы отъ богатыхъ людей, или въ видѣ субсидій отъ правительства, которыя милліонами даются имъ на театры, консерваторіи, академіи. Деньги же эти собираются съ народа, который никогда не пользуется тѣми эстетическими наслажденіями, которыя даетъ искусство“. Въ этомъ исходная точка зрѣнія гр. Толстого: искусство стоитъ огромныхъ денегъ, деньги собираются съ народа, народъ же благами, приносимыми искусствомъ, не пользуется. Сверхъ того, подъ видомъ искусства намъ преподносятъ множество всякихъ глупостей и гадостей, подобныхъ той оперѣ, на репетиціи которой присутствовалъ гр. Толстой, во имя искусства одни люди оскорбляютъ человѣческое достоинство

другихъ. Возникаетъ вопросъ: дѣйствительно ли искусство такое важное дѣло, чтобы изъ-за него приносить подобныя жертвы? Не лучше ли совсѣмъ отказаться отъ искусства, а затрачиваемыя на него силы и средства употребить на что-нибудь другое—хотя бы на народное образованіе, о которомъ такъ мало заботятся? Такъ поставленъ вопросъ гр. Толстымъ. Едва ли кто-нибудь изъ его читателей не угадалъ въ самомъ началѣ книжки отвѣтъ. Народъ такъ дорого расплачивается за искусство и не пользуется имъ. Развѣ можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что такое положеніе вещей грубо, возмутительно несправедливо? Богатые люди, у которыхъ все есть, идутъ къ бѣднымъ и отнимаютъ у нихъ необходимыя не только на образованіе, но на пропитаніе средства, чтобъ устраивать театры, концерты, выставки. Развѣ во время голода въ большихъ городахъ прекратились спектакли, развѣ богатые отказались отъ эстетическихъ наслажденій, чтобы помочь несчастнымъ ближнимъ? Въ справедливости такого вопроса, повидимому, не можетъ быть сомнѣнія. Любопытно, однако, иное обстоятельство. Въ русской литературѣ взглядъ, подобный тому, который высказываетъ гр. Толстой—не новость. Въ шестидесятыхъ годахъ, такъ думали и чувствовали всѣ, которые называли себя „мыслящими реалистами“. Добролюбовъ во всѣхъ своихъ статьяхъ только и говорилъ, что о необходимости все забыть, все забросить и сосредоточить силы общества и государства на поддержаніи погрязающаго въ нищетѣ и невѣжествѣ народа. Нужно было разбить оковы крѣпостного права, нужно было дать крестьянамъ всѣ тѣ блага, которыми пользуется каждый изъ насъ. Гр. Толстому, конечно, еще памятно счастливое возбужденіе этого бурнаго времени. Послѣ великаго акта освобожденія крестьянъ лучшимъ русскимъ людямъ казалось, что для насъ нѣтъ ничего невозможнаго, что въ самое короткое время путемъ общественныхъ реформъ и литературной проповѣди можно добиться уничтоженія того обиднаго неравенства, которое господствовало у насъ въ старое время. Правда, этихъ

надеждъ прямо не высказывали. Даже наоборотъ, многіе демонстративно прикрывали свои упованія грубыми названіями „положительной философіи“, „эгоизма“ и т. д. Говорили, что нужно рѣзать лягушекъ и заботиться только о личномъ счастьѣ. Но подъ всѣмъ этимъ для глазъ всякаго безпристрастнаго человѣка ясна была великая и благородная задача молодежи; она надѣялась спасти отечество и возродить, посредствомъ Россіи, чуть ли не все человѣчество. Вслѣдъ за безвременно скончавшимся Добролюбовымъ явился Писаревъ. Въ немъ идеи предшествовавшихъ писателей сказались въ еще болѣе рѣзкой формѣ. Въ свое дѣло спасенія отечества онъ вѣрилъ еще болѣе, чѣмъ другіе. Но слова для своихъ идей онъ подбиралъ еще болѣе грубыя, еще болѣе скрывающія сущность его стремленій. И за нимъ вся молодежь того времени стала повторять разныя страшныя слова отрицанія и вмѣстѣ съ нимъ лелѣять надежды на близость лучшаго времени и мечтать о величіи предстоящихъ къ исполненію задачъ. И тогда-то возникъ вопросъ о значеніи искусства именно въ той формѣ, въ которой онъ представляется теперь гр. Толстымъ. Что дѣлаетъ искусство? спросили они себя. Спасаетъ народъ отъ невѣжества? Кормитъ, поитъ, лѣчитъ? Развиваетъ нравственно? Предохраняетъ отъ пьянства?— На всѣ вопросы получился отрицательный отвѣтъ. Нѣтъ, искусство доставляетъ только „эстетическое наслажденіе“ богачамъ, которымъ и безъ того тепло и сыто живется. А, если такъ, чего же съ нимъ церемониться? И въ результатѣ знаменитыя статьи Писарева о Пушкинѣ, въ которыхъ вся его поэзія признается никуда не годной и никому не нужной забавой пустого человѣка. Хорошо пишетъ—Некрасовъ. У него есть „ѣду-ли ночью по улицѣ темной“: это призываетъ къ справедливости, къ состраданію, къ человѣчности. А „Евгеній Онѣгинъ“, „Моцартъ и Сальери“ и т. д.—это искусство ради искусства, народу не нужное и великимъ цѣлямъ, поставленнымъ себѣ молодымъ поколѣніемъ, не только чуждое, но прямо враждебное. Даже первыя произведенія гр. Тол-

стого Писаревъ похвалилъ только потому, что нашелъ ихъ полезными для общественныхъ цѣлей. Такъ поставили и разрѣшили вопросъ объ искусствѣ въ 90-хъ годахъ молодые руководители молодого поколѣнія. Нужно ли говорить, что ихъ взгляды и ихъ проповѣдь для историка русскаго общественнаго развитія—одно изъ самыхъ отрадныхъ проявленій пробуждающейся мысли? Ихъ юношеская честность, суровая на видъ и стыдливая на самомъ дѣлѣ горячность, ихъ увлеченія несбыточными надеждами, ихъ дѣтская и наивная вѣра во всемогущество печатнаго слова—до сихъ поръ любовно привлекаютъ къ себѣ взоры даже тѣхъ, кто уже давно вырвался изъ власти ихъ „убѣжденій“ и „принциповъ“. Но какъ странно намъ теперь встрѣтить въ книгѣ гр. Толстого разсужденія, такъ близко напоминающія намъ нашу отдаленную юность, когда мы, вслѣдъ за своимъ учителемъ, Писаревымъ, полагали, что прежде всего нужно и важно разрѣшить вопросъ о томъ, какое искусство полезно обществу, а потомъ лишь позволять себѣ признавать тѣхъ или иныхъ поэтовъ и художниковъ; когда мы нападали на Пушкина со всей пуританской энергіей строго воспитанныхъ въ нравственности людей за то, что онъ воспѣвалъ въ романахъ ручки и ножки хорошенькихъ барышенъ, размышлялъ о вѣчности въ „Фаустѣ“, писалъ никому не нужнаго „Бориса Годунова“, отдавалъ столько вниманія бездѣльнику Онѣгину, и проливалъ слезы надъ сантиментальной Татьяной, вмѣсто того, чтобы звать людей къ важному дѣлу. И даже его дуэль мы ему ставимъ въ упрекъ, и даже поставленный ему памятникъ вызвалъ въ насъ негодованіе. „За что“? спрашивали мы, совсѣмъ какъ гр. Толстой. Развѣ онъ—мы не говорили, какъ гр. Толстой „святой“, это слово мы возбраняли себѣ употреблять, но мы именно его имѣли въ виду,—развѣ онъ, говорили мы, полезный общественный дѣятель? Мы хотѣли, чтобы поставили памятникъ Некрасову за его любовь къ народу, т. е. къ униженнымъ, оскорбленнымъ, страдающимъ, Некрасову, за которымъ мы восторженно повторяли:

Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!

Каково же было намъ теперь встрѣтить у гр. Толстого столь знакомый намъ способъ отношенія къ искусству и его представителямъ? Правда, гр. Толстой оказался смѣлѣе насъ. Мы, напримѣръ, Шекспира и Гете не трогали. Собственно говоря, мы отлично тогда понимали, что эти писатели, съ нашей точки зрѣнія, никуда не годятся, ибо у нихъ нѣтъ того непосредственнаго и горячаго призыва о помощи народу, который одушевлялъ поэзію Некрасова. Но даже самъ Писаревъ не осмѣливался нападать на нихъ, и мы предпочитали обходить ихъ молчаніемъ, даже позволяли себѣ читать ихъ въ смутной надеждѣ, что когда-нибудь мы съ ними справимся. Но если бы въ то время появилась книга гр. Толстого „Что такое искусство“ и если бы въ этой книгѣ было по меньше добродѣтельныхъ словъ (такія слова въ то время оскорбляли нашу стыдливость—мы дѣлали добро исключительно потому, что намъ это было „очень выгодно“)—она была бы для насъ настоящимъ откровеніемъ. Намъ только и нужно было, что получить право отрицать в с е искусство и Рафаэля, и Бетховена, и Шекспира, и Данте—на томъ именно основаніи, что всѣ они не считали себя призванными „воспѣть страданья изумляющаго терпѣньемъ народа“, говоря словами Некрасова, или, употребляя выраженіе гр. Толстого—выражать „религіозное сознаніе истиннаго христіанства, сознаніе братства людей“. Какъ тогда оскорбилъ насъ гр. Толстой своей „Анной Карениной“, т.-е. своимъ Левинымъ, который, какъ только пересталъ думать о спасеніи Россіи, человѣчества и т. д.—„какъ плугъ врѣзался въ землю“. Мы не могли простить гр. Толстому, что онъ сошелъ съ пути обличенія общественныхъ язвъ, за который его похвалилъ Писаревъ, и заговорилъ въ своихъ романахъ о вопросахъ, къ устроенію народа никакого отношенія не имѣющихъ. „Война и Миръ“, „Анна Каренина“ были для насъ „искусствомъ для искус-

ства“, плѣнительнымъ, захватывающимъ, но тѣмъ болѣе раздражающимъ. Мы только жалѣли, что Писарева уже нѣтъ и что некому воздать гр. Толстому по достоинству за его грѣхи. Теперь гр. Толстой самъ исполняетъ ту миссію, для которой мы ждали новаго Писарева. Онъ причисляетъ свои романы къ дурному искусству и мечтаетъ о томъ, какъ бы создать новое искусство, которое служило бы народу и его нуждамъ. Какимъ же образомъ гр. Толстой вернулся къ тѣмъ идеаламъ, отъ которыхъ бѣжалъ въ молодые годы? Писаревъ, воюющій съ искусствомъ ради искусства и уничтожающій Пушкина, намъ понятенъ. Въ 27 лѣтъ естественно надѣяться, что помѣхой къ осуществленію великихъ идеаловъ служитъ преувеличенное преклоненіе людей предъ эстетикой и что нѣсколькими статьями можно сразу подвинуть впередъ дѣло разрѣшенія экономическихъ и иныхъ вопросовъ. Писареву казалось, что каждая статья его является событіемъ въ этомъ смыслѣ, и проповѣдь не могла не вдохновлять его. Но гр. Толстой отлично знаетъ, что его книжки ничего измѣнить не могутъ. Онъ самъ говоритъ: „я мало надѣюсь, чтобы доводы, которые я привожу объ извращеніи искусства и вкуса въ нашемъ обществѣ, не только были приняты, но серьезно обсуждены“. И это въ немъ, конечно, не скромность говоритъ. Онъ на самомъ дѣлѣ превосходно понимаетъ, что никогда его „Кавказскій плѣнникъ“ или „Богъ правду знаетъ, да не скоро скажетъ“ (только эти два разсказа изъ всего, что имъ написано, относитъ онъ къ хорошему искусству)—не будутъ имѣть для читателей того значенія, которое имѣютъ не только его большіе романы—но даже „Смерть Ивана Ильича“. Зачѣмъ же, для кого онъ пишетъ? Отчего онъ, вмѣсто „Что такое искусство“, не написалъ еще двухъ, трехъ сказокъ для народа по тѣмъ правиламъ, которыя онъ выработалъ для талантливыхъ художниковъ? Очевидно, что и самъ онъ обращается къ тѣмъ или инымъ вопросамъ не потому, что разрѣшеніемъ ихъ надѣется быть полезнымъ мужику, а потому, что не думать о нихъ

онъ не можетъ. Рецептъ художественнаго творчества составленъ имъ не для себя, а для другихъ...

У Нитше въ „Also sprach Zarathustra“ есть одно очень любопытное мѣсто. Послѣ своей бесѣды съ калѣками, Заратустра обращается съ проповѣдью къ ученикамъ своимъ. Одинъ изъ калѣкъ—горбатый—съ удивленіемъ прислушиваясь къ новымъ словамъ, спрашиваетъ учителя: „отчего ты съ учениками иначе говоришь, чѣмъ съ нами?“—Чему-жъ тутъ удивляться! отвѣчаетъ Заратустра, съ горбатыми по-горбатому и говорить нужно.—„Хорошо, сказалъ горбатый—и съ учениками нужно разговаривать по школьному (aus der Schule). Но почему Заратустра иначе говоритъ къ своимъ ученикамъ, чѣмъ къ самому себѣ?“ [1]). Отъ гр. Толстого такихъ рѣчей не услышишь. Онъ никогда не позволитъ читателю проникнуть дальше того, что имъ оффиціально возвѣщается, какъ ученіе. Онъ предлагаетъ намъ считаться не съ нимъ самимъ, а съ его „школой“. И Нитше умѣетъ носить „маску“ и даже слишкомъ часто надѣваетъ ее на себя. Но онъ никогда такъ бережно не охранялъ святыню своего творчества отъ постороннихъ взглядовъ, какъ это дѣлаетъ гр. Толстой, хотя у него, несомнѣнно, было больше поводовъ скрываться, чѣмъ у гр. Толстого, хотя онъ временами высказывалъ убѣжденіе, что вся задача писателя сводится къ тому, чтобъ украшать себя и жизнь. Несомнѣнно, что не только Нитше, но и гр. Толстой съ учениками разговариваетъ по-школьному, дѣлясь съ ними только „выводами“ и утаивая отъ нихъ ту неспокойную и тяжелую работу своей души, которая представляется ему исключительнымъ удѣломъ „учителя“. Оттого у него на первый планъ выдвигается чисто писаревская, т.-е. юношеская увѣренность, что, „стоитъ только захотѣть людямъ“, и искусство для искусства будетъ замѣнено другимъ, хорошимъ искусствомъ. Гр. Толстой знаетъ, что кроется подъ этимъ „стоитъ людямъ захо-

---

[1]) A. S. L. Von Erlösung.

тѣть". Въ этихъ словахъ говоритъ не писаревская молодая вѣра, а разочарованіе долго и упорно боровшагося стараго человѣка, рѣшившагося отказаться отъ неравной борьбы. Онъ эти слова не для себя придумалъ, а для учениковъ, для другихъ, чтобы имѣть возможность отвязаться отъ преслѣдующихъ сомнѣній и перейти отъ ставшаго невыносимо тяжелымъ дѣла—философіи, къ болѣе легкому, простому и утѣшительному занятію—проповѣди.

Гр. Толстой кончаетъ тѣмъ, съ чего началъ Писаревъ! Стоитъ только вдуматься въ это загадочное явленіе, чтобы понять, зачѣмъ гр. Толстой въ своихъ статьяхъ громитъ насъ и наше искусство. Онъ, какъ и всѣ жившіе до него люди, не умѣлъ сорвать покрывала съ истины и долженъ забыть, во что бы то ни стало забыть роковую загадку жизни. Онъ написалъ „Войну и Миръ" и вышелъ на время побѣдителемъ изъ искушавшихъ его сомнѣній невѣрія. Всѣ ужасы двѣнадцатаго года представились ему законченной, полной смысла картиной. И движеніе людей съ востока на западъ, и съ запада на востокъ, съ сопровождавшими его массовыми убійствами, и жизнь самыхъ различныхъ людей отъ Каратаева и Анатоля—до Кутузова и князя Андрея, все представилось ему единымъ и гармоническимъ цѣлымъ, во всемъ онъ умѣлъ увидѣть руку Провидѣнія, пекущагося о слабомъ и незнающемъ человѣкѣ. „Война и Миръ"—высшій идеалъ душевнаго равновѣсія, до котораго только можетъ дойти человѣкъ.

Бѣлинскій въ одномъ изъ своихъ частныхъ писемъ говорилъ: „Если бы мнѣ и удалось взлѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ бы васъ дать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр.—иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братьевъ по крови". Въ этихъ немногихъ и простыхъ словахъ выражена сущность философ-

ской задачи. Въ нихъ и программа „Войны и Мира“: гр. Толстой требовалъ отчета у судьбы на счетъ каждаго изъ своихъ братьевъ по крови. И—какъ ему казалось—получилъ полное удовлетвореніе. Во всѣхъ событіяхъ онъ видѣлъ руку Творца и смирился, успокоился душою. Онъ никого не хотѣлъ учить, полагая, что всѣ учатся у жизни и каждый получаетъ свое. Вотъ какими словами обрисовываетъ онъ въ Пьерѣ это настроеніе: „Въ Пьерѣ была новая черта, заслуживавшая ему расположеніе всѣхъ людей:—это признаніе возможности каждаго человѣка думать, чувствовать и смотрѣть на вещи по-своему; признаніе невозможности словами разубѣдить человѣка. Эта законная особенность каждаго человѣка, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участія и интереса, которые онъ принималъ въ людяхъ. Различіе, иногда совершенное противорѣчіе взглядовъ людей съ своей жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало въ немъ насмѣшливую и кроткую улыбку“. Но, какъ было уже указано, гр. Толстой не надолго сохранилъ душевное равновѣсіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ потерялъ возможность оставаться на высотѣ философіи „Войны и Мира“. У него, какъ и у Достоевскаго, стала развиваться черта нетерпимости, сознаніе противоположности своихъ интересовъ не только съ интересами Наполеона и Сони, но многихъ, очень многихъ людей, и поэтому онъ ухватился за нищихъ ляпинскаго дома и народъ, чтобы ихъ именемъ защищать „добро“ отъ „зла“. Поэтому-то въ современномъ обществѣ, въ людяхъ своего круга онъ не видитъ ничего хорошаго. Это хорошее ему не нужно, ему нужно дурное, чтобы было на кого и на что излить накопившееся въ сердцѣ ожесточеніе противъ таинственной и упорной неразрѣшимости мучительныхъ жизненныхъ вопросовъ. Не смотря на то, что онъ всегда ссылается на Евангеліе,—христіанскаго въ его ученіи очень мало. Если приравнивать его къ св. Писанію, то развѣ къ Ветхому Завѣту, къ пророкамъ, которыхъ онъ напоминаетъ характеромъ своей проповѣди и требовательностью. Онъ

не хочетъ убѣдить людей—онъ ихъ запугиваетъ. „Дѣлайте то, что я говорю вамъ, иначе вы будете безнравственными, развратными, испорченными существами". Я пробовалъ подчеркивать такого рода слова въ книгѣ гр. Толстого: цѣлыя страницы оказались испещренными карандашомъ. Очевидно, гр. Толстому нужно прежде всего обидѣть, оскорбить „наше общество", выместить на комъ-нибудь свою боль. И этого книга его достигаетъ какъ нельзя лучше. Онъ хочетъ отнять у насъ то, что намъ больше всего нужно, и заставить принять насъ то, что намъ совсѣмъ не нужно. Средство же простое: то, что намъ нужно—зло, и тѣ, которые отъ этого не отказываются, безнравственные, дурные люди; то, что намъ не нужно—добро и тѣ, которые его не принимаютъ—не принимаютъ добра. А добро—Богъ. Вотъ его подлинныя слова изъ„ Что такое искусство": „Добро есть вѣчная, высшая цѣль нашей жизни. Какъ бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, какъ стремленіе къ добру, т.-е. къ Богу". Добро—есть Богъ! Т.-е. внѣ добра нѣтъ цѣли для человѣка.

Если-бы гр. Толстой подъ добромъ и теперь, какъ въ былыя времена, понималъ совокупность всего, чѣмъ живетъ человѣкъ—такое опредѣленіе могло бы имѣть не только полемическое значеніе. Но и тогда оно было бы неправильнымъ и никоимъ образомъ не могло бы быть принятымъ. Изъ Библіи мы знаемъ, что Богъ создалъ человѣка по своему образу и подобію, въ Евангеліи Богъ называется нашимъ Небеснымъ отцомъ. Но нигдѣ въ этихъ книгахъ не сказано, что добро—есть Богъ. Гр. Толстой, однако, идетъ еще дальше. Онъ утверждаетъ: „Религіозное сознаніе нашего времени въ самомъ общемъ приложеніи его есть сознаніе того, что наше благо, и матеріальное, и духовное, и отдѣльное. и общее, и временное, и вѣчное, заключается въ братской жизни всѣхъ людей, въ любовномъ единеніи нашемъ межъ собой". Цѣль этого опредѣленія—тоже чисто полемическая, ибо оно даетъ право гр. Толстому клеймить всѣхъ тѣхъ, которые смѣютъ думать, что, помимо

братскаго единенія, есть еще блага въ жизни, и тѣмъ болѣе тѣхъ, которые во взаимной любви видятъ не цѣль, а только слѣдствіе болѣе тѣснаго сближенія людей. Гр. Толстому нужно такое опредѣленіе, которое давало бы ему право требовать отъ людей любви къ ближнимъ, какъ исполненія ихъ долга. На этомъ построена вся книжка, это даетъ поводъ ему негодовать, возмущаться, проповѣдовать — независимо отъ того, принесетъ ли все это хоть какую-нибудь пользу тѣмъ бѣднымъ, тому народу, отъ имени которыхъ говорится. Какъ у Достоевскаго убитыя Раскольниковымъ женщины даютъ возможность автору душить убійцу, такъ и у гр. Толстого эксплуатируемый народъ является на сцену не затѣмъ, чтобы получить облегченіе, а чтобы помочь гр. Толстому обличать и громить. Гр. Толстой знаетъ, что не можетъ помочь бѣднымъ и обездоленнымъ и что въ этомъ смыслѣ его проповѣдь обязательно будетъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Если онъ все-таки говоритъ—то лишь ради небольшой кучки слушающихъ его интеллигентовъ, которые тоже ничего или почти ничего не могутъ сдѣлать, но у которыхъ совѣсть при чтеніи толстовскихъ статей всегда заводитъ свою унылую и безцѣльную пѣсню. Они, эти интеллигенты, читаютъ Шекспира и Данте, слушаютъ Бетховена и Вагнера, смотрятъ картины знаменитыхъ художниковъ. Имъ, конечно, это нужно—и какъ еще нужно! Но гр. Толстой этого не желаетъ. Ступайте къ ближнимъ и любите ихъ. Это—вашъ долгъ. Въ этомъ должно быть ваше высшее благо. Тѣ же произведенія искусства, которыя вы чтите, не только не хороши, но прямо дурны и безнравственны. Ради нихъ грабятъ народъ и они ничего о братской любви не говорятъ. Слѣдовательно, ихъ нужно бросить.

Такова основная мысль „Что такое искусство“ и таковы, какъ мнѣ представляется, дѣйствительные мотивы толстовской проповѣди „добра“. Я не стану вдаваться въ подробный разборъ разнаго рода соображеній, которыми обставляетъ гр. Толстой свои основныя поло-

женія. Это представляетъ чисто внѣшній, литературный интересъ. Насъ здѣсь занимаетъ не то, о чемъ гр. Толстой говоритъ со своими учениками, а какъ онъ говоритъ съ самимъ собой, для насъ важны не формальныя „обоснованія“ его „правоты“, а тотъ источникъ, изъ котораго вытекла его проповѣдь, его ожесточенная ненависть къ культурнымъ классамъ, къ искусству, къ наукѣ. Повторяемъ, не вѣра и христіанство привели гр. Толстого къ его отрицанію; о вѣрѣ—у него нигдѣ нѣтъ ни слова. Богъ умышленно подмѣнивается добромъ, а добро—братской любовію людей. Такая вѣра не исключаетъ, вообще говоря, совершеннаго атеизма, совершеннаго безвѣрія и ведетъ обязательно къ стремленію уничтожать, душить, давить другихъ людей во имя какого-либо принципа, который выставляется обязательнымъ, хотя самъ по себѣ онъ въ большей или меньшей мѣрѣ чуждъ и ненуженъ ни его защитнику ни людямъ. Той любви и состраданія, о которыхъ гр. Толстой все время говоритъ, у него нѣтъ и не можетъ быть, какъ мы видѣли изъ многочисленныхъ цитатъ, взятыхъ изъ его сочиненій. Не потому, что онъ менѣе „хорошій человѣкъ“, чѣмъ всѣ тѣ, которые любятъ и сострадаютъ въ жизни и книгахъ, что онъ „черствый, безсердечный, стальной“ человѣкъ, какъ говорятъ поклонники Дикенса и Тургенева. Несомнѣнно, что у гр. Толстого не меньше любви къ людямъ, чѣмъ у Дикенса или Тургенева, и что онъ умѣетъ отозваться на несчастіе ближняго. Разница лишь въ томъ, что эти „отзыванія“ для него не конецъ, какъ для другихъ, а начало. Разница лишь въ томъ, что ему мало отозваться на нужду и бросить подачку бѣдному—хотя онъ и говоритъ о пріятности даванья и возводитъ милосердіе въ принципъ. Но это происходитъ именно потому, что онъ слишкомъ хорошо понимаетъ, какъ мало можетъ помочь даванье, ищетъ большаго—и не находитъ и пускается въ проповѣдь, ради которой уничтожаетъ Анну Каренину, Вронскаго, Кознышева, всю интеллигенцію, искусство, науку...

VIII

Здѣсь мы подходимъ къ философіи Толстовскаго антипода—Нитше. И у него, какъ у гр. Толстого, началомъ душевнаго переворота было сознаніе того великаго событія, что „Богъ умеръ“, какъ выражался впослѣдствіи самъ Нитше или что „Богъ — есть добро“, какъ говоритъ теперь гр. Толстой, увѣряя, что въ этомъ сущность христіанства и что въ этомъ—религіозное сознаніе нашего времени. Въ томъ, что „Богъ есть добро“ и „Богъ—умеръ“—выраженія однозначущія и что гр. Толстой и Нитше исходили изъ одной точки зрѣнія, могутъ служить доказательствами слѣдующія слова Нитше: „Лучшій способъ начать день: проснувшись, подумать, нельзя-ли въ этотъ день порадовать чѣмъ-нибудь хоть одного человѣка. Если это станетъ замѣной религіозныхъ привычекъ, люди только выиграютъ отъ такой замѣны“. И еще: „въ мірѣ далеко недостаточно любви и доброты, чтобы дарить ихъ еще фантастическимъ существамъ“. Русскому читателю, наслышавшемуся о жестокости антихриста и имморалиста Нитше, приведенныя слова покажутся странными въ его устахъ. А между тѣмъ въ нихъ объясненіе всѣхъ его будущихъ настроеній. Оба эти афоризма взяты изъ „Menschliches, Allzumenschliches“—той книги, въ которой Нитше впервые отрѣшается отъ Шопенгауеровской метафизики. Теперь для него метафизика, опредѣлившая собой содержаніе его перваго труда, die Geburt der Tragödie,—этого типическаго образца талантливой ученой causerie въ пессимистическомъ стилѣ—„лишь наука, говорящая о вѣчныхъ заблужденіяхъ человѣка, но съ такимъ видомъ, будто рѣчь идетъ о вѣчныхъ истинахъ“. У нея онъ уже не ищетъ объясненія. Онъ бѣжитъ отъ своихъ теорій эстетическаго истолкованія трагедіи—именно теперь, когда онѣ, повидимому, наиболѣе нужны, ибо трагедія, до сихъ поръ происходившая въ душахъ Прометея, Эдипа и другихъ героевъ Софокловыхъ и Эсхиловыхъ драмъ—теперь происходитъ въ его собственной душѣ. Онъ по-

нимаетъ уже, что великое несчастье не можетъ быть оправдано тѣмъ, что о немъ можно красиво и возвышенно разсказать; искусство, разукрашивающее человѣческое горе, ему не годится. Онъ ищетъ другого убѣжища, гдѣ думаетъ найти спасеніе отъ преслѣдующихъ его ужасовъ. Онъ спѣшитъ къ „добру“, о которомъ онъ привыкъ думать, что оно всемогуще, что оно можетъ все замѣнить, что оно—Богъ, что оно—выше Бога, что человѣчество только выиграетъ, если, взамѣнъ Бога, всю свою любовь будетъ отдавать ближнимъ. Идея—чисто толстовская, какъ видитъ читатель. Разница лишь въ томъ, что Нитше въ тѣ годы былъ еще не искушенъ и отъ всей души вѣрилъ въ спасеніе посредствомъ добра—да еще въ томъ, что вся судьба Нитше зависѣла отъ того, что принесетъ ему эта вѣра. Какъ помнитъ читатель, ужасная болѣзнь поставила его въ необходимость отказаться не только отъ работы, но и отъ всякаго общества. Всегда одинъ, преслѣдуемый мучительными припадками, онъ могъ только думать и записывать свои мысли въ видѣ коротенькихъ афоризмовъ. При такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ сила „добра“ была подвергнута серьезному испытанію. Можетъ ли оно, какъ говорили философы, замѣнить человѣку всю его жизнь? Отвѣтомъ на это служитъ философія Нитше. Нѣмецкіе профессора, въ томъ числѣ и А. Риль, произведенія котораго переведены на русскій языкъ, хотя и признаютъ, что „книги Нитше—не обыкновенныя книги, а „переживанія“, „пережитыя книги“ — но они же отнимаютъ у сочиненій Нитше все ихъ значеніе и весь интересъ, говоря, что они—только „переживанія мыслителя“, „мысли, какъ переживанія“. Самъ Нитше лучше зналъ источникъ своего творчества. Онъ говорилъ объ основной, наиболѣе занимавшей его проблемѣ — проблемѣ нравственности, что она была его личнымъ вопросомъ, что съ ней была связана его судьба [1]). Очевидно, не о „мысляхъ, какъ переживаніяхъ“ шла у него рѣчь, хотя

[1]) N. Werke. т. V, стр. 276.

онъ и былъ философомъ, т.-е. человѣкомъ, умѣющимъ отдавать себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ и чувствахъ. Его „переживанія“ связаны не съ отвлеченными, лежащими внѣ интересовъ другихъ людей, вопросами, а съ тѣмъ, изъ чего слагается вся наша жизнь. Онъ былъ мучительно боленъ, былъ обреченъ на невольную бездѣятельность и обязательное уединеніе: эти ли и связанныя съ ними обстоятельства составляютъ „переживанія мыслителя“? Изъ чего же тогда жизнь? То, что произошло съ Нитше, происходитъ съ тысячами людей сплошь и рядомъ на нашихъ глазахъ. И, быть можетъ, всѣ эти люди такъ же, какъ и Нитше, реагируютъ на свои несчастья—но молчатъ: не умѣютъ или не смѣютъ возвысить свой голосъ противъ установленныхъ другими, не знавшими ихъ страданій, людьми принциповъ. Чего больше? Самъ Нитше въ началѣ до того былъ смущенъ безвыходностью и унизительностью своего положенія, что ничего другого не нашелся сказать, какъ эту фразу: „больной не имѣетъ права быть пессимистомъ“. Имѣющій уши да слышитъ! Что значитъ это „не имѣетъ права“? Кто отнялъ это право у больного? До чего еще можетъ дойти смиреніе и самоуничиженіе? У человѣка отнято все, человѣка обрекли на непрерывныя пытки, и онъ еще не имѣетъ права жаловаться, проклинать, протестовать противъ слѣпой силы, невѣдомо за что казнящей его?!

И это сознаніе своей безправности не оставляетъ Нитше до конца его жизни. Профессоръ Лихтенбергъ заключаетъ свой разсказъ о литературной дѣятельности Нитше слѣдующимъ наивнымъ замѣчаніемъ: „...и когда пришло безуміе положить конецъ его сознательной жизни, онъ пѣлъ побѣду. И эта ли судьба не прекрасна?“ Въ pendant къ этому могутъ служить слова уже цитированнаго пр. Риля, который, тоже въ утѣшеніе читателю, разсказываетъ, что Нитше, подобно Руссо, „въ своей личности и судьбѣ являетъ примѣръ трагизма генія“. Давно бы пора отказаться отъ этихъ общихъ мѣстъ, въ которыхъ съ такой непозволительностью ска-

зывается эгоизмъ людей, всегда готовыхъ грѣться у огня и платонически завидовать „прекрасной судьбѣ“ Прометея, у котораго въ это время коршунъ выклевываетъ печень. Была ли прекрасна судьба Нитше — объ этомъ нужно его спросить. И вотъ что тогда онъ разскажетъ намъ о „трагизмѣ“ генія: „психологъ, прислушиваясь къ сужденіямъ людей, молчитъ: съ неподвижнымъ лицомъ узнаетъ онъ, что тамъ уважаютъ, удивляются, любятъ, прославляютъ—гдѣ онъ видѣлъ; онъ даже еще считаетъ необходимымъ скрыть свое молчаніе и для виду соглашается съ первымъ, случайнымъ мнѣніемъ. Можетъ быть, парадоксальность его положенія доходитъ до такой ужасной степени, что именно тамъ, гдѣ онъ научился великому состраданію и великому презрѣнію,—толпа, образованные люди, мечтатели, въ свою очередь, научаются великому уваженію къ „великимъ людямъ“ и чудеснымъ животнымъ, ради которыхъ можно благословлять и чтить отечество, міръ, достоинство человѣка, самихъ себя, на которыхъ указываютъ юношамъ, какъ на примѣръ. И кто знаетъ? Можетъ быть, во всѣхъ великихъ случаяхъ до сихъ поръ происходило одно и то же: т о л п а м о л и л а с ь н а б о г а, а э т о т ъ б о г ъ б ы л ъ с а м ъ т о л ь к о б ѣ д н ы м ъ ж е р т в е н н ы м ъ ж и в о т н ы м ъ“ [1]). Такъ понимаетъ „психологъ“ исторію „великихъ людей“, судьба которыхъ кажется завидной пр. Лихтенбергу. Далѣе Нитше продолжаетъ: „эти великіе поэты—Байронъ, Мюссе, Поэ, Леопарди, Клейстъ, Гоголь (я не смѣю назвать болѣе значительныя имена, но я ихъ имѣю въ виду)—какими они были, можетъ быть, должны были быть: люди мгновенія, восторженные, чувственные, ребячески наивные, легкомысленные и непрочные въ своей подозрительности и довѣрчивости; принужденные скрывать какую-нибудь брешь въ своей душѣ; часто своими сочиненіями ищущіе отомстить за пережитый позоръ (innere Besudelung); въ своемъ пареніи стремящіеся освободиться отъ напо-

[1]) N. W., VII, 256.

минаній слишкомъ хорошей памяти; топчащіеся въ грязи, почти влюбленные въ нее—до тѣхъ поръ, пока они не уподобляются блуждающимъ у болота огонькамъ и не притворяются звѣздами — народъ ихъ тогда называетъ идеалистами; часто борющіеся съ вѣчнымъ отвращеніемъ къ жизни, съ постоянно вновь возвращающимся къ нимъ привидѣніемъ невѣрія, которое охлаждаетъ человѣка и научаетъ его желать „gloria“ и жрать „вѣру въ себя“ изъ рукъ опьяненныхъ льстецовъ; какое мученіе эти великіе художники и вообще великіе люди для того, кто однажды разгадалъ ихъ“. Въ этомъ отрывкѣ называются только имена Байрона, Мюссе, Гоголя и т. д. Болѣе значительныхъ писателей Нитше какъ будто бы не смѣетъ назвать. Но, въ другомъ мѣстѣ почти такое же, если не болѣе ужасное, подозрѣніе высказывается по поводу Шекспира. Читатель помнитъ ту сцену изъ „Юлія Цезаря“, когда поэтъ врывается въ палатку ссорившихся вождей—Кассія и Брута,—чтобъ примирить ихъ. Нитше говоритъ по поводу нея: „Шекспиръ палъ ницъ передъ образомъ и добродѣтелью Брута и чувствовалъ себя далекимъ и недостойнымъ его. Дважды является поэтъ въ пьесѣ и дважды на него изливается такое крайнее и нетерпѣливое презрѣніе, которое звучитъ какъ крикъ — какъ крикъ самопрезрѣнія. Брутъ, самъ Брутъ теряетъ терпѣніе, когда является поэтъ, самоувѣренный, патетическій, надоѣдливый, какими обыкновенно бываютъ поэты, въ качествѣ существъ, умѣющихъ высокопарно болтать о возможностяхъ величія — такъ же и нравственнаго,—но въ философіи дѣйствія и жизни рѣдко достигающихъ обыденной честности. „Я буду слушать остроты его, коль во время онъ будетъ говорить ихъ. Къ чему при войскѣ эти скоморохи. Пріятель, убирайся!“ восклицаетъ Брутъ. Перенесите эти слова въ душу поэта, написавшаго ихъ“ [1]).

---

[1]) W., т. V, стр. 129.

Такіе мотивы творчества находилъ Нитше у великихъ поэтовъ. Насъ теперь не занимаетъ, насколько справедливы его догадки. Для насъ гораздо важнѣе установить, что̀ привело его къ нимъ. У него прямого отвѣта нѣтъ. Когда однажды одинъ изъ учениковъ спросилъ у Заратустры объясненія по поводу его словъ, онъ получилъ такой отвѣтъ: „Я не принадлежу къ числу тѣхъ людей, у которыхъ спрашиваютъ объ ихъ „почему“. Развѣ мои переживанія со вчерашняго дня?“ [1]). Въ этомъ—одно изъ достоинствъ философіи Нитше. Большинство разнаго рода „потому“, которыми обыкновенно писатели обставляютъ свои положенія, являются аргументами ex post facto. Убѣжденіе давно созрѣло, нужно лишь заставить людей принять его: и всѣ доводы считаются хорошими, если только они достигаютъ своей цѣли, т.-е. представляютъ сужденіе законнымъ и правомѣрнымъ съ логической точки зрѣнія. И Нитше иногда пускается „обосновывать“ свои мнѣнія, ссылаясь на исторію, филологію и т. д.; и тогда его разсужденія настолько же проигрываютъ въ своемъ значеніи и интересѣ, насколько они выигрываютъ во внѣшней обстановкѣ. Его „познаніе“ вытекло изъ внутренняго опыта, изъ того страшнаго опыта, который приводитъ къ убѣжденію, что больной не имѣетъ права быть пессимистомъ, что великіе писатели вымещаютъ свое innere Besudelung, что тамъ, гдѣ всѣ чтятъ бога—на самомъ дѣлѣ есть только „бѣдное жертвенное животное“. Такія и имъ подобныя „потому“—въ отвѣтъ на любопытствующія „почему“ въ прямой формѣ никогда не разсказываются, не могутъ быть разсказаны. Они проявляются лишь въ своеобразной проницательности на счетъ психики другихъ людей. И, если Нитше утверждаетъ, что обращенныя къ поэту слова Брута нужно перенести въ душу Шекспира, то мы навѣрное можемъ принять его собственныя проникновенія въ тайны великихъ людей за невольныя признанія и въ нихъ найти тѣ переживанія, о которыхъ онъ не

---

[1]) A. S. Z. Von den Dichtern.

хотѣлъ разсказывать ученику своему, ссылаясь на ихъ отдаленность и свою плохую память. „Если я имѣю преимущество предъ другими психологами, говоритъ Нитше, то оно состоитъ въ томъ, что мой взглядъ острѣе въ томъ труднѣйшемъ и рискованнѣйшемъ видѣ обратнаго заключенія, при которомъ совершались наибольшія ошибки: заключенія отъ созданія — къ его творцу, отъ поступка—къ поступающему, отъ идеала къ тому, кто въ немъ нуждается, отъ каждаго строя мысли и оцѣнки—къ кроющимся подъ ними потребностямъ“ [1]). Это онъ правду говоритъ о себѣ. Онъ научился тамъ различать, гдѣ другіе ничего не видѣли. Но откуда взялась къ человѣку, жившему за „семью уединеніями“, такая своеобразная проницательность? Очевидно—источникъ одинъ: онъ находилъ у другихъ то, что видѣлъ у себя.

„Каждый глубокій мыслитель, говоритъ Нитше, гораздо больше боится быть понятымъ, чѣмъ не понятымъ. Въ послѣднемъ случаѣ, быть можетъ, страдаетъ его тщеславіе; въ первомъ же—его сердце, его любовь къ людямъ, которая всегда говоритъ: ахъ, зачѣмъ вы хотите то же вынести (es auch so schwer haben), что и я ?“ [2]). Изъ этого читатель можетъ себѣ до нѣкоторой степени представить, что значатъ нижеслѣдующія слова Нитше: „что касается моей болѣзни,—я ей несомнѣнно большимъ обязанъ, чѣмъ моему здоровью. Я ей обязанъ высшимъ здоровьемъ, такимъ, при которомъ человѣкъ крѣпнетъ отъ всего, что его не убиваетъ. Я ей обязанъ всей моей философіей. Только великая боль—послѣдній освободитель духа; она учитъ великому подозрѣнію, она изъ каждаго U — дѣлаетъ X, — истинный, настоящій X, т.-е. предпослѣднюю букву предъ послѣдней. Только великая боль, та длинная, медленная боль, при которой мы будто сгораемъ на сырыхъ дровахъ, которая не торопится—только эта боль заставляетъ насъ, философовъ, спуститься въ послѣднія наши глубины, и все довѣр-

---

[1]) W. VIII, 194.
[2]) Ib. VII, 268.

чивое, добродушное, прикрывающее, мягкое, посредственное—въ чемъ, быть можетъ, мы сами прежде полагали свою человѣчность—отбросить отъ себя“ [1]). Эти вольныя и невольныя признанія открываютъ намъ, съ какой нуждой пришелъ Нитше къ „добру“, и чего онъ ждалъ отъ нравственности, когда онъ утверждалъ, что ея проблема—была его собственной, личной проблемой, что съ ней была связана его судьба. Повторяемъ, быть можетъ, нравственности не впервые приходилось имѣть дѣло съ людьми, находившимися въ обстоятельствахъ Нитше. И, можетъ быть, многіе, вслѣдъ за Нитше, могли бы повторить: „я сомнѣваюсь, чтобы т а к о е страданіе дѣлало человѣка „лучшимъ“—но оно дѣлаетъ его болѣе глубокимъ“ [2]). Но до Нитше никто не смѣлъ открыто, своимъ, т а к и м ъ с в о и м ъ опытомъ, провѣрять общепризнанныя суверенныя права „добра“. Если Нитше говоритъ: „больной не имѣетъ права быть пессимистомъ“, то другіе до него считали, что больной (несчастный) человѣкъ не имѣетъ права претендовать на нравственность, если она не оправдываетъ его надеждъ, что в и н а не въ ней, а въ немъ самомъ. Это станетъ яснѣе впослѣдствіи, когда мы ознакомимся подробнѣе съ тѣми причинами, которыя заставили Нитше отшатнуться отъ своихъ юношескихъ идеаловъ; пока мы должны лишній разъ подчеркнуть одно чрезвычайно важное обстоятельство. Нитше былъ и остался до конца своей жизни нравственнымъ человѣкомъ въ полномъ смыслѣ—самомъ обыденномъ—этого слова. Онъ не могъ и ребенка обидѣть, былъ цѣломудренъ, какъ молодая дѣвушка и все, что почитается людьми долгомъ, обязанностью, исполнялъ, развѣ что съ преувеличеннымъ, слишкомъ добросовѣстнымъ усердіемъ. Мы уже приводили два его афоризма: „ни за что такъ дорого человѣкъ не расплачивается, какъ за свои добродѣтели“ и „кто уже не жерт-

---

[1]) Ib. VIII, 207.
[2]) T. V, стр. 8.

вовалъ самимъ собою ради своего добраго имени!“ [1]). Для насъ въ этихъ словахъ неоцѣнимое свидѣтельство, болѣе важное, чѣмъ толстыя біографическія книги, въ которыхъ искренніе и добросовѣстные люди изъ силъ выбиваются, чтобы изобразить Нитше шаблоннымъ великимъ человѣкомъ, т.-е. такимъ, какимъ великому человѣку быть полагается, сообразно установившимся у насъ традиціоннымъ представленіямъ о сущности генія. Здѣсь же любопытно для насъ, ищущихъ найти точки соприкосновенія между нѣмецкимъ антихристомъ и русскимъ христіаниномъ, вспомнить о соотвѣтствующемъ признаніи гр. Толстого. Гр. Толстой никогда не платился за свои добродѣтели. Но за пороки — платился, и очень. Вотъ его подлинныя слова: „въ своей исключительно въ мірскомъ смыслѣ счастливой жизни я наберу страданій, понесенныхъ мною во имя ученія міра столько, что ихъ достало бы на хорошаго мученика Христа. Всѣ, самыя тяжелыя минуты моей жизни, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей и войны, до того нездоровья и тѣхъ неестественныхъ условій жизни, въ которыхъ я живу и теперь — все это мученичество во имя міра“. Очевидно—помимо того, какъ теперь гр. Толстой оцѣниваетъ свое прошлое—когда-то онъ грѣшилъ очень охотно и много, и такой эпохи въ своей жизни, которая была бы посвящена всецѣло служенію добродѣтели, онъ назвать не можетъ (послѣдніе годы, понятно, не въ счетъ). Его выводъ изъ всей своей грѣховной жизни прямо противуположенъ нитшевскому: „пусть всякій искренній человѣкъ вспомнитъ хорошенько свою жизнь и онъ увидитъ, что онъ ни разу не пострадалъ отъ исполненія ученія Христа“. Вопросъ лишь въ томъ, можетъ ли быть гр. Толстой судьей въ значеніи добродѣтели для человѣка, когда онъ самъ такъ много грѣшилъ. Очевидно, что въ этомъ смыслѣ „безнравственный“, какъ его называетъ гр. Толстой, Нитше гораздо компетентнѣе: ни пьянства, ни разврата, ни дуэлей, ни всего

---

[1]) Т. VII, стр. 103 и 97.

прочаго, чѣмъ была наполнена жизнь гр. Толстого, у него не было. Онъ служилъ „добру“. И добро съиграло надъ нимъ коварную шутку. Пока онъ былъ молодъ, силенъ, здоровъ, пока онъ могъ обойтись и безъ утѣшенія добра, т.-е. пока онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи все, чему обыкновенно радуются и чѣмъ живутъ люди, и добро приносило ему свои дары. Когда же все у него было отнято, когда онъ остался одинъ—и добро, какъ невѣрный другъ, покинуло его. Ему не было и 30 лѣтъ, когда съ нимъ произошла та страшная метаморфоза, которая называется болѣзнью. Почти сразу, какъ роптавшій магометанинъ въ пушкинскомъ стихотвореніи,—онъ, уснувши юношей, проснулся разбитымъ старцемъ, съ страшнымъ сознаніемъ, что жизнь ушла—и не вернется никогда. А смерти нѣтъ — нужно жить подъ мрачный напѣвъ фаустовской пѣсни: entbehren sollst du, sollst entbehren. Съ какой мольбой пошелъ онъ къ добру—единственному Богу, которому могъ онъ молиться! Другого Бога у него не было, онъ не смѣлъ о другомъ Богѣ и думать, потому же, почему не смѣлъ быть пессимистомъ: ибо этотъ Богъ вышелъ бы, психологически говоря, придуманнымъ ad hoc для облегченія и утѣшенія, какъ и пессимизмъ, который у больного является результатомъ не объективнаго созерцанія, а неудачно сложившейся личной судьбы...

IX

А искалъ ли Нитше Бога? Объ этомъ уже достаточно свидѣтельствуютъ его страстные нападки на христіанство. Въ наше время они звучатъ совершеннымъ анахронизмомъ для „образованнаго“ человѣка — гр. Толстой это лучше другихъ знаетъ. Тѣмъ болѣе, что у Нитше они не вызываются, какъ у другихъ писателей—у Вольтера и молодого Гейне, напримѣръ — совершенно посторонними, политическими соображеніями. Какъ разъ наоборотъ: всѣ демократическія чаянія обычныхъ враговъ государственныхъ религій Нитше чужды. Болѣе того, Нитше

ставитъ въ вину христіанству широкое распространеніе современной идеи о равенствѣ людей и объ этомъ говоритъ часто, много, и какъ будто бы страстно — хотя, въ сущности, онъ къ общественнымъ вопросамъ былъ равнодушенъ до наивности. Христіанство занимало его именно какъ религія, какъ ученіе, которое должно было разрѣшить всѣ его сомнѣнія, освободить его отъ того отвращенія къ жизни, которое постоянно овладѣвало имъ, несмотря на то, что онъ такъ убѣжденно утверждалъ: „больной не имѣетъ права быть пессимистомъ“. Въ исторіи новаго времени Нитше является первымъ, быть можетъ единственнымъ, философомъ-врагомъ христіанства, какъ религіи, и, что еще важнѣе, однимъ изъ немногихъ, рѣшившихся отвергнуть утѣшеніе Евангелія въ то время, когда оно ему нужно было больше всего на свѣтѣ. До сихъ поръ обыкновенно говорили, что человѣкъ „обязанъ“ вѣрить, быть религіознымъ. По поводу Нитше нужно измѣнить это выраженіе. Нужно сказать: „человѣкъ имѣетъ право вѣрить, быть религіознымъ“. Исторія атеизма Нитше есть исторія отысканія этого права. Если онъ не нашелъ его, то, очевидно, не по своей „винѣ“. О „злой волѣ“, которую такъ охотно приписываютъ невѣрующимъ—и которую такъ часто ставитъ въ упрекъ гр. Толстой современнымъ интеллигентнымъ людямъ—здѣсь, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Наоборотъ, Нитше положилъ всѣ силы своей души на то, чтобъ найти вѣру. Если же онъ ея не нашелъ, то, стало быть, условія таковы, что е м у и найти ее нельзя было. Психологія гр. Толстого, который допускаетъ единственно возможную причину невѣрія—нежеланіе принять на себя обязанности, возлагаемыя христіанствомъ, къ Нитше, очевидно, непримѣнима. Для него и людей, находящихся въ его положеніи, христіанство никакихъ обязанностей не уготовило: для обиженныхъ, несчастныхъ, больныхъ — всѣ права. И Нитше это слишкомъ хорошо понималъ. Во всѣ времена, даже языческія, говоритъ онъ, люди жертвовали Богу всѣмъ, что имъ наиболѣе дорого. Что же намъ, спрашиваетъ онъ, осталось

принести въ жертву своему Богу? И вотъ какой получается у него отвѣтъ на этотъ вопросъ: „не должны ли мы, наконецъ, пожертвовать всѣмъ утѣшающимъ, святымъ, исцѣляющимъ, всѣми надеждами, всей вѣрой въ скрытую гармонію, въ блаженство и справедливость въ будущемъ? Не должны ли мы пожертвовать самимъ Богомъ и, изъ жестокости къ себѣ, обоготворять камень, глупость, тяжесть, судьбу, ничто? Пожертвовать Богомъ ради „ничего“ — это парадоксальное таинство послѣдней жестокости выпало на долю нашего поколѣнія: мы всѣ знаемъ кой-что объ этомъ“ [1]). Таковъ былъ атеизмъ Нитше: не пренебреженная обязанность, а утерянное право. „Свободомыслiе нашихъ господъ естествоиспытателей, въ моихъ глазахъ — шутка; имъ недостаетъ моей страсти въ этихъ вещахъ, моего страданiя“ [2]), говоритъ онъ въ послѣднемъ своемъ произведенiи, въ „Антихристѣ“. Обычное равнодушiе образованныхъ людей къ религiи Нитше отлично зналъ и умѣлъ цѣнить: онъ помнилъ себя самого въ молодые годы, когда Шопенгауеръ и Вагнеръ ему замѣняли все и когда подъ громъ пушекъ, сопровождавшiй ужасную трагедiю 70-го года, онъ въ отдаленномъ уголкѣ Альповъ такъ учено и мило объяснялъ „рожденiе трагедiи“. Вотъ его воспоминанiя объ этомъ времени. По обыкновенiю, онъ говоритъ не о себѣ, а о другихъ—о нѣмцахъ, объ ученыхъ вообще. Но мы знаемъ уже, откуда онъ беретъ свои свѣдѣнiя. „Межъ тѣми, которые въ настоящее время живутъ въ Германiи вдали отъ религiи — я нахожу людей всякаго рода и вида „свободомыслiя“; прежде всего множество такихъ, у которыхъ, благодаря постоянной и усидчивой работѣ, изъ поколѣнiя въ поколѣнiе атрофировался религiозный инстинктъ: такъ что они даже и не знаютъ, зачѣмъ собственно нужны религiи, и съ видомъ тупого удивленiя отмѣчаютъ ихъ существованiе среди людей. Они чувствуютъ

---

[1]) N. W., VII, 89.
[2]) VIII, 223.

себя — эти славные люди—достаточно занятыми своими дѣлами и удовольствіями, не говоря уже объ „отечествѣ“, газетахъ, „обязанностяхъ предъ семьей“; повидимому у нихъ совсѣмъ не остается времени для рѐлигіи, тѣмъ болѣе, что имъ не вполнѣ ясно, о чемъ собственно здѣсь идетъ рѣчь—о новомъ ли удовольствіи или о дѣлѣ. Ибо, говорятъ они себѣ, не можетъ же быть, чтобъ въ церковь ходили единственно затѣмъ, чтобы портить себѣ настроеніе“. И дальше: „рѣдко вѣрующій или даже просто набожный человѣкъ имѣетъ представленіе о томъ, сколько доброй воли — можно было бы сказать добровольной воли—нужно теперь нѣмецкому ученому, чтобы серіозно отнестись къ вопросу о религіи; въ силу своего ремесла онъ склоненъ относиться къ религіи съ высокомѣрной, почти добродушной веселостью, къ которой примѣшивается легкое презрѣніе къ „нечистоплотности“ ума, всегда предполагаемой въ людяхъ, не отложившихся отъ церкви“. Это изъ собственнаго прошлаго Нитше, ибо говорится о другихъ, о нѣмцахъ вообще, объ ученыхъ. А вотъ заключеніе, уже изъ новаго опыта: „каждая эпоха имѣетъ свой собственный, божественный видъ наивности, изобрѣтенію котораго ей могутъ завидовать другія эпохи; и сколько такой наивности, почтенной, ребяческой и безгранично глупой наивности кроется въ сознаніи своего превосходства у ученаго, въ добросовѣстности его терпимости, въ той безпечной, легкомысленной, увѣренности, въ силу которой онъ считаетъ религіознаго человѣка низшимъ, сравнительно съ собой, типомъ, отъ котораго онъ давно ушелъ—онъ, маленькій, притязательный карликъ и плебей, прилежный, добросовѣстный работникъ, создающій „идеи“, „современныя идеи“ [1]). Такими и подобными размышленіями переполнены книги Нитше. Очевидно, что мысль его, когда-то настолько поглощенная теоретическимъ пессимизмомъ, филологическими изслѣдованіями и искусствомъ, что ей некогда было и взглянуть въ ту сторону, гдѣ говорилось о религіяхъ,

---

[1]) N. W., т. VII, стр. 81—83.

и въ силу этого усвоившая себѣ обычное въ средѣ ученыхъ добродушно презрительное отношеніе къ вопросамъ о Богѣ, теперь всецѣло сосредоточена на томъ, что прежде почиталось нестоющимъ вниманія. „Бога нѣтъ, Богъ умеръ“ — эта вѣсть, которая когда-то была имъ такъ спокойно принята непровѣренной съ чужихъ словъ, теперь возбуждаетъ въ немъ мистическій ужасъ. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ передаетъ онъ теперь ее: „слышали-ли вы о томъ безумномъ человѣкѣ, который въ свѣтлый полдень зажегъ фонарь, выбѣжалъ на рынокъ и непрестанно кричалъ: „я ищу Бога, я ищу Бога“.— Всѣ вокругъ него смѣялись и острили. Но „безумный“ человѣкъ вбѣжалъ въ толпу и, пронизывая всѣхъ своимъ взглядомъ, воскликнулъ: „гдѣ Богъ? Я вамъ скажу. Мы его убили — я и вы. Мы всѣ убійцы. Но, какъ мы это сдѣлали? Какъ могли мы выпить море? Кто далъ намъ эту губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сдѣлали мы, оторвавши землю отъ ея солнца? Куда идетъ теперь она? Куда идемъ мы? Прочь отъ солнца? Не падаемъ ли мы непрерывно? Идемъ назадъ, въ сторону, впередъ, во всѣхъ направленіяхъ? Есть ли еще верхъ и низъ? Не блуждаемъ ли мы въ безконечномъ ничто? Не дышетъ ли на насъ пустое пространство? Не стало ли холоднѣе? Не наступаетъ ли все болѣе и болѣе темная ночь? Не приходится ли средь бѣла дня зажигать фонарь? Развѣ мы не слышимъ шума могильщиковъ, погребающихъ Бога? Развѣ не доносится до насъ запахъ тлѣнія? И боги истлѣваютъ! Богъ умеръ! Богъ не воскреснетъ! И мы его убили! Какъ утѣшимся мы, убійцы изъ убійцъ? Самое могущественное и святое Существо, какое только было въ мірѣ, истекло кровью подъ нашими ножами. Кто смоетъ съ насъ эту кровь? Какой водой можемъ мы очиститься? Какія искупительныя празднества, какія священныя игры нужно будетъ придумать? Развѣ грандіозность этого дѣла не слишкомъ громадна для насъ? Не должны ли мы сами обратиться въ боговъ, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дѣла, болѣе великаго, и кто родится

послѣ насъ, этимъ самымъ будетъ принадлежать къ исторіи высшей, чѣмъ вся прежняя исторія". Здѣсь замолчалъ безумный человѣкъ и снова сталъ глядѣть на своихъ слушателей: и они молчали и удивленно глядѣли на него. Наконецъ, онъ бросилъ свой фонарь на землю, такъ что онъ разбился вдребезги и погасъ. „Я пришелъ слишкомъ рано", сказалъ онъ,—„Мое время еще не наступило. Это страшное событіе еще въ пути, еще идетъ — еще не дошла вѣсть о немъ до человѣческихъ ушей. Молніи и грому нужно время, свѣту звѣздъ нужно время, и дѣяніямъ нужно время,—послѣ того какъ они уже совершены,—чтобы ихъ увидѣли и услышали. Это дѣяніе пока еще дальше, чѣмъ самыя отдаленныя свѣтила, а все-таки вы его совершили" [1]). Въ такихъ и подобныхъ выраженіяхъ говоритъ Нитше о значеніи своего атеизма. Видно, что всѣ сравненія, которыя приходили ему въ голову, казались ему недостаточными для того, чтобы подѣлиться съ людьми ужаснымъ впечатлѣніемъ опустошенія, которое онъ испыталъ, когда „увидѣлъ и услышалъ", что Богъ убитъ — онъ, который когда-то утверждалъ, что у людей недостаточно любви, чтобы отдавать ее фантастическимъ существамъ. Очевидно, что любви у него было достаточно, много, слишкомъ много и что онъ понималъ хорошо, чѣмъ бы могъ быть для него Богъ, если бы ему дано было вѣрить; очевидно, что не было надобности въ постороннемъ вліяніи, чтобы привести Нитше къ вѣрѣ. И тѣмъ не менѣе онъ не увѣровалъ и принесъ въ жертву всѣ свои надежды на скрытую гармонію, на блаженство и справедливость въ будущемъ. „Религіозное сознаніе нашего времени", которое гр. Толстой считаетъ возможнымъ сдѣлать обязательнымъ для всѣхъ, отказалось сослужить свою службу тамъ, гдѣ его приняли бы, какъ благовѣстъ. Очевидно, что не отъ воли человѣка зависитъ — вѣрить или не вѣрить, и что, соотвѣтственно этому, основное положеніе гр. Толстого, въ силу котораго человѣку стоитъ только

---

[1]) T. V, стр. 164.

пожелать и онъ найдетъ для себя нравственную опору въ жизни, превращается изъ аксіомы въ теорему или даже — прямо говоря — въ истину, которая не можетъ быть ничѣмъ доказана. А вмѣстѣ съ тѣмъ выясняется, что и вся задача, поставленная себѣ гр. Толстымъ, имъ не исполнена, что онъ снялъ съ себя обязанность приводить людей къ религіи и взамѣнъ этого взялъ себѣ право громить ихъ за ихъ невѣріе. И скажу еще разъ то, что говорилъ раньше: гр. Толстой сдѣлалъ такъ не потому, что онъ не понималъ, чего отъ него могутъ ждать, а потому, что онъ не могъ, ни для себя, ни для другихъ, выполнить эту великую задачу. Тамъ, гдѣ не вѣритъ Нитше, не вѣритъ и гр. Толстой. Но Нитше этого не скрываетъ (онъ скрываетъ другое), графъ же Толстой считаетъ возможнымъ не разсказывать своимъ ученикамъ о той пустотѣ въ своемъ сердцѣ, надъ которой онъ воздвигъ столь блестящее въ литературномъ отношеніи зданіе проповѣди. Кто правъ Нитше — или гр. Толстой? Что лучше — прятать-ли свои сомнѣнія и обращаться къ людямъ съ „ученіемъ“, въ надеждѣ, что для нихъ этого достаточно и что у нихъ никогда не явятся тѣ же вопросы, которые мучали учителя — или говорить открыто? А что, если эти вопросы придутъ, возникнутъ сами собой у учениковъ? Ученики, конечно, не посмѣютъ говорить о томъ, о чемъ учитель молчалъ! Какое странное общество добросовѣстныхъ лицемѣровъ съ ясными рѣчами и затуманенными головами получится тогда! И развѣ эта, хотя и добрая, честная ложь не отмстится и въ седьмомъ колѣнѣ? Развѣ мученики притворной вѣры нужны кому-нибудь? Было время, когда людей приводили къ религіи — даже къ христіанству— огнемъ и мечемъ. Теперь — не то. Мы знаемъ, что и нравственный авторитетъ въ этомъ дѣлѣ — непозволительное средство. Мы хотимъ, чтобы вѣрили такъ, какъ вѣрили первые христіане, когда пытками принуждали къ отреченію отъ Христа, когда наука, искусство, авторитетъ общественной власти—все было противъ новаго ученія. Только такую вѣру мы цѣнимъ. И, если Нитше,

находившійся именно въ такомъ положеніи, не могъ увѣровать, для насъ это не должно служить поводомъ къ громовымъ проповѣдямъ. Наоборотъ, здѣсь только нужно замолчать — и слушать, для того, чтобы понять, почему прежде бывшій сравнительно легкимъ и доступнымъ,—во всякомъ случаѣ возможнымъ—путь къ вѣрѣ, теперь оказывается закрытымъ для тѣхъ, кто въ ней наиболѣе нуждается и такъ горячо ея ищетъ. Въ такихъ случаяхъ гремѣть и громить можетъ лишь тотъ человѣкъ, которому нужно въ себѣ самомъ заглушить голосъ сомнѣній. Но нужно ли это? Не для графа Толстого—онъ самъ знаетъ, что для него лучше,—а для его читателей, для тѣхъ сотенъ и тысячъ Нитше, которыя, вынося его судьбу, не находятъ въ себѣ смѣлости говорить собственнымъ языкомъ и покорно съ внѣшней стороны, но съ ужасомъ въ душѣ повторяютъ недоступныя имъ рѣчи изъ чужой проповѣди. Это называется резиньяціей и этого тоже требуютъ отъ людей, какъ ихъ обязанности, во имя разныхъ вещей, называемыхъ хорошими словами. Но справедливо ли это? Вѣдь, въ концѣ-концовъ, это требованіе имѣетъ одно основаніе: зажать ротъ несчастнымъ, неудачливымъ, чтобы всѣмъ остальнымъ до поры до времени спокойнѣй жилось. Но, помимо того, что это несправедливо—это и невозможно. Попытка гр. Толстого ограничить сферу дозволеннаго въ искусствѣ путемъ введеній новыхъ опредѣленій дурного и хорошаго искусства, конечно, ни къ чему не можетъ привести. Люди всегда говорили и будутъ говорить о томъ, чѣмъ полна ихъ душа, и никакія поэтики, ни аристотелевскія, ни толстовскія, не сдержатъ накипѣвшихъ мукъ. Но насъ занимаетъ здѣсь не этотъ, практическій чисто вопросъ. Для насъ представляется несравненно болѣе серіознымъ и важнымъ то обстоятельство, что гр. Толстой повернулся спиной къ собственной задачѣ, закрылъ глаза на свой вопросъ. Онъ знаетъ, что значитъ искать вѣры и не находить ее. Его Левинъ, молодой, здоровый человѣкъ, счастливый семьянинъ, былъ близокъ къ самоубійству только потому, что не

могъ найти Бога. Вправѣ ли гр. Толстой требовать отъ насъ, чтобы мы не подозрѣвали теперь правдивости и искренности его словъ, когда онъ утверждаетъ, что „добро“, „братская любовь“ есть Богъ? Вправѣ ли онъ разсчитывать, что негодованіе, которое онъ изливаетъ на „невѣрующихъ“, и рецептъ физическаго труда, предлагаемый имъ какъ панацея противъ всѣхъ бѣдъ, не покажется намъ только ловкимъ, а, можетъ быть, и неловкимъ, обходомъ собственныхъ сомнѣній?

X

Между прочимъ, эти средства не могутъ похвалиться и новизной. Давно извѣстно, что трудъ—всякій, не только физическій—отвлекаетъ отъ размышленія. Еще болѣе давно установилось убѣжденіе, что негодованіемъ можно на время подавить какіе угодно запросы человѣческой души. И не только по поводу Нитше въ наше время, но вотъ уже много десятковъ лѣтъ люди разныхъ положеній негодуютъ противъ Гейне за его „безбожіе“. Добро бы такимъ способомъ боролись съ его юношескими стихотвореніями, въ которыхъ можно еще видѣть легкомысліе человѣка, не знающаго „зачѣмъ собственно и существуютъ религіи“. Но—особенно у нѣмцевъ—Гейне не желаютъ простить именно его послѣднія произведенія, произведенія „Matrazengruft“. Очевидно для всѣхъ, что у паралитика, прикованнаго къ постели, не имѣющаго никакой надежды на выздоровленіе, не можетъ уже быть „злой воли“ въ невѣріи. Такому человѣку вѣра нужна болѣе всего въ жизни; обычныхъ „соблазновъ“, которыми люди уводятся къ атеизму, у него быть не можетъ. Если до послѣднихъ минутъ жизни у Гейне происходятъ непрерывные приливы и отливы вѣры, если каждый разъ въ немъ резиньяція смѣняется протестомъ, умиленіе—насмѣшкой, то для насъ во всемъ этомъ тѣмъ меньше можетъ быть повода къ негодованію, чѣмъ сами мы прочнѣе и убѣжденнѣе вѣримъ въ то, что знаемъ истину. Наоборотъ

даже, съ истинно-религіозной, возвышенной точки зрѣнія—настроенія Гейне особенно цѣнны, и именно въ въ тѣ минуты, когда онъ произноситъ самые кощунственные свои сарказмы. Столь возмущающее нѣмецкихъ историковъ литературы послѣсловіе къ „Romanzero“ для насъ дорого правдивою откровенностью, которая, въ сущности, является первымъ и обязательнымъ долгомъ человѣка въ отношеніи къ Богу. Гейне говоритъ: „Wen man nun einen Gott begehrt, der zu helfen vermag—und das ist doch die Hauptsache—so muss man auch seine Persönlichkeit, seine Ausserweltlichkeit und seine heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allgerechtigkeit u. s. w. annehmen“. Съ точки зрѣнія, громко выражаемой гр. Толстымъ, такія слова—даже мысли—непозволительны. Это то, что̀ нужно обязательно замалчивать. А Гейне это говорилъ наканунѣ смерти, въ стихахъ и прозѣ. Размышляя о будущей жизни, онъ писалъ:

Auf Wolken sitzend, Psalmen singen
Wär auch nicht just mein Zeitvertrieb.

Или вотъ какія слова вырываются у него среди непрерывныхъ мученій болѣзни, когда смерть была его послѣдней надеждой:

O Gott, verkürze meine Qual,
Damit man mich bald begrabe;
Du weisst ja, dass ich kein Talent
Zum Martyrthume habe.
Ob deiner Inkosequenz, o Gott,
Erlaube, dass ich staune,
Du schufest den fröhlichsten Dichter, und raubst
Ihm jetzt seine gute Laune.
Der Schmerz verdumpft den heitern Sinn,
Und macht mich melancholisch.
Nimmt nicht der traurige Spass ein End',
So werd' ich am Ende katholisch.
Ich heule dir dann die Ohren voll
Wie andre gute Christen—
O Miserere! Verloren geht
Der beste der Humoristen.

Я привелъ эти коротенькіе отрывки изъ Гейневской прозы и стиховъ послѣдняго періода лишь затѣмъ, чтобъ иллюстрировать характеръ религіознаго сознанія нашего времени. Гр. Толстой, какъ и слѣдуетъ проповѣднику, изображаетъ это сознаніе въ абсолютныхъ словахъ, какъ нѣчто могущее быть принятымъ и отверженнымъ по желанію. Но, какъ видно изъ признаній Гейне и Нитше, желаніе тутъ не причемъ. Заратустра говоритъ ученикамъ своимъ: „вы еще не искали меня и нашли меня. Такъ дѣлаютъ всѣ вѣрующіе; оттого всякая вѣра такъ мало значитъ. Теперь я велю вамъ потерять меня и найти себя. И когда вы отречетесь отъ меня—я вернусь къ вамъ“ [1]). Для Нитше отреченіе—единственный, неизбѣжный способъ вновь обрѣсти ученіе и учителя. И въ этомъ отреченіи—источникъ новой поэзіи, новаго искусства. Изъ этого вытекла „Божественная комедія“, которую гр. Толстой не считаетъ возможнымъ включить въ свой коротенькій списокъ дозволенныхъ къ чтенію вещей. Данте, на половинѣ своего жизненнаго пути, заблудился въ мрачномъ лѣсу и искалъ, какъ выбраться оттуда. Онъ побывалъ за той ужасной дверью, одна надпись на которой приводитъ въ трепетъ тѣхъ, кому приходилось читать ее на языкѣ Данте. Конецъ всѣ знаютъ: lasciate ogni speranza voi ch'entrate. То же, что о Данте, можно сказать о Шекспирѣ. И его лучшая поэзія (втораго періода) вытекла изъ необходимости отречься отъ ученія, чтобъ своими силами вновь обрѣсти его. Въ приведенныхъ выше словахъ Заратустры формулирована ставшая неизбѣжной для современнаго человѣка стадія развитія. Намъ уже не дано найти, не искавши. Отъ насъ требуютъ большаго. И мы должны отречься, какъ въ свое время отрекся гр. Толстой, какъ отрекается онъ еще теперь. Мы должны понять весь ужасъ того положенія, о которомъ говоритъ Нитше словами безумнаго человѣка, который скрытъ подъ юморомъ Гейне, кото-

---

[1]) A. S. Z. Von der schenkenden Tugend.

рый испыталъ за своей дверью Данте, изъ котораго родились трагедіи Шекспира, романы и проповѣди гр. Толстого. Въ былыя отдаленныя времена объ этихъ роковыхъ тайнахъ жизни знали очень немногіе. Остальные получали вѣру даромъ. Теперь время другое. И религіозное сознаніе добывается инымъ путемъ. Тамъ, гдѣ прежде достаточно было проповѣди, угрозы, нравственнаго авторитета,—теперь спрашиваютъ больше. Не всѣ, конечно; большинство и теперь, даже среди „образованныхъ“ людей „съ тупымъ удивленіемъ отмѣчаютъ существованіе религій“.

Потому-то искусство, пытающееся удовлетворить высшимъ запросамъ человѣческаго духа, не можетъ быть доступно всѣмъ. Одни наслаждаются „отравленной совѣстью“ или „разбойникомъ Чуркинымъ“ и въ такихъ пьесахъ находятъ удовлетвореніе, межъ тѣмъ какъ другіе идутъ къ Данте, Гете, Шекспиру, къ греческимъ трагикамъ, ища у нихъ отвѣта на мучительные вопросы. Гр. Толстой говоритъ, что искусство „высшихъ классовъ отдѣлилось отъ искусства всего народа, и стало два искусства: искусство народное и искусство господское“. Нѣтъ—это раздѣленіе по чисто внѣшнимъ, неважнымъ признакамъ. Въ предѣлахъ господскаго искусства есть многое, что было бы подъ стать любому мужику, если бы не чуждая обстановка и языкъ. А „Макбетъ“, „Лиръ“, „Прометей“ кажутся скучными многимъ господамъ, которые посѣщаютъ представленія „классическихъ“ пьесъ только въ виду существующаго представленія, что онѣ имѣютъ воспитательное значеніе или что-то въ этомъ родѣ. На самомъ дѣлѣ тотъ, кому „отравленная совѣсть“ нравится и скученъ Шекспиръ, наиболѣе благоразумно поступилъ бы, если бы слѣдовалъ внушеніямъ своего вкуса. Его время еще не пришло. Пусть пока радуется на то, что ему нравится, что ему нужно. Самъ гр. Толстой въ „Смерти Ивана Ильича“, произведеніи, такъ загадочно прорвавшемся сквозь законченную якобы гармонію его „религіозныхъ настроеній“, разсказалъ намъ, что въ самое послѣднее

время [1]), тогда, когда планъ спасенія человѣчества посредствомъ труда и „правилъ“ былъ имъ вполнѣ выработанъ, сомнѣнія бушевали въ его душѣ не меньше, чѣмъ у Гейне или Нитше, и что „наши“ вопросы были тогда и его вопросами.

Вотъ какъ онъ разсказываетъ о послѣднихъ минутахъ Ивана Ильича: „онъ понялъ, что онъ пропалъ, что возврата нѣтъ, что пришелъ конецъ, совсѣмъ конецъ“... „Всѣ три дня, въ продолженіи которыхъ для него не было времени, онъ барахтался въ томъ черномъ мѣшкѣ, въ который его просовывала невидимая, непреодолимая сила. Онъ бился, какъ бьется въ рукахъ палача приговоренный къ смерти, зная, что онъ не можетъ спастись; и съ каждой минутой онъ чувствовалъ, что несмотря на всѣ усилія борьбы, онъ ближе и ближе становится къ тому, что ужасало его. Онъ чувствовалъ, что мученье его и въ томъ, что онъ всовывается въ эту черную дыру, и еще больше въ томъ, что онъ не можетъ пролѣзть черезъ нее“. Въ этихъ словахъ основная тема разсказа. Вслушайтесь только въ нихъ хорошо. Какія выраженія подбираетъ гр. Толстой! „Пропалъ“, „конецъ, совсѣмъ конецъ“, „черный мѣшокъ“ и т. д. Развѣ отъ нихъ не вѣетъ настроеніемъ метерлинковской l'intruse? Правда, у гр. Толстого въ концѣ разсказа есть какъ бы отвѣтъ на вопросъ. Ивану Ильичу „пролѣзть мѣшаетъ признанье, что жизнь его была хороша. Это-то оправданіе своей жизни цѣпляло и не пускало его впередъ и больше всего мучало его“. Все начало разсказа объясняетъ намъ, чѣмъ была не хороша жизнь Ивана Ильича. Онъ слишкомъ щадилъ себя, слишкомъ оберегалъ пріятность приличной жизни, слишкомъ дорожилъ средними благами и только теперь, когда подошла трагедія, впервые почувствовалъ, что онъ пропустилъ лучшее въ жизни. Но, тѣмъ ужаснѣе это. Зачѣмъ теперь ему эта проницательность, когда

---

[1]) „Мысли, вызванныя перепиcью“ относятся къ 1884—1885 гг., а смерть Ивана Ильича—къ 1884—1886 гг.

всѣ счеты съ жизнью кончены? Что съ того, что въ концѣ дыры, въ которую онъ провалился, „засвѣтилось что-то“ и что онъ „вдругъ узналъ настоящее направленіе“? Какой отвѣтъ можетъ быть на этотъ вопросъ? „Избавить ихъ (окружающихъ) и самому избавиться отъ этихъ страданій“. Только-то? Послѣднія слова Ивана Ильича, когда онъ услышалъ, что кто-то надъ нимъ сказалъ: „кончено“, были: „кончена смерть. Ея нѣтъ больше“. Что это значитъ? Что значитъ, что „страха смерти не было, потому что смерти не было. Вмѣсто смерти былъ свѣтъ“? Какъ въ своей душѣ гр. Толстой объясняетъ эту ужасную трагедію ни въ чемъ неповиннаго человѣка? Его отвѣтъ—проповѣдь: любите ближняго и трудитесь. Но объ этомъ его не спрашиваютъ, объ этомъ онъ самъ себя не спрашиваетъ. Прочитавъ Ивана Ильича, мы вовсе не интересуемся узнать, какъ намъ спастись отъ его ужасной участи. Наоборотъ, вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, мы требуемъ отчета о каждой жертвѣ исторіи, условій и т. д. и не только не желаемъ лѣзть на верхнюю ступень развитія, но, наоборотъ, готовы броситься съ нея внизъ головой, если намъ не отвѣтятъ за Ивана Ильича.

„Смерть Ивана Ильича“, какъ художественное произведеніе, принадлежитъ къ лучшимъ перламъ толстовскаго творчества. Это вопросительный знакъ, начертанный такой рѣзкой, черной краской, которая просвѣчиваетъ черезъ всѣ слои новыхъ, радужныхъ красокъ проповѣди, которыми гр. Толстой хотѣлъ принудить насъ забыть свои прошлыя сомнѣнія. Никакая проповѣдь ему не поможетъ. Мы будемъ спрашивать, какъ спрашивалъ до сихъ поръ гр. Толстой, какъ бы онъ ни открещивался отъ своего прошлаго, какъ бы ни раздувалъ онъ слово „вина“, какъ бы ни грозилъ онъ намъ отлученіемъ отъ нравственности, т. е. въ его терминологіи отъ Бога. Мы знаемъ, что это не такъ, что „вина“ можетъ быть предъ нравственностью, но не предъ Богомъ, ибо нравственность—дѣло рукъ человѣческихъ. Вотъ любопытный отрывокъ изъ бесѣды между Зара-

тустрой и старымъ папой, который „послѣ смерти Бога“ остался безъ службы. Старый папа разсказываетъ о смерти Бога въ такихъ словахъ: „кто хвалилъ его, какъ Бога любви, недостаточно цѣнилъ самое любовь. Развѣ этотъ Богъ не хотѣлъ быть также и судьею? Любящій же не знаетъ ни награды ни отмщенія. Когда онъ былъ молодъ, этотъ Богъ изъ восточныхъ странъ, онъ былъ суровъ и мстителенъ и выстроилъ себѣ адъ, чтобы забавлять своихъ любимцевъ. Потомъ онъ состарился, сталъ мягкимъ и сострадательнымъ,—больше, какъ дѣдъ, чѣмъ отецъ или, скорѣе всего, какъ старая бабушка. И онъ сидѣлъ, поблекшій, на свой печкѣ, разглядывая свои старыя ноги, уставши отъ жизни, безсильный, пока, наконецъ, не задохнулся отъ состраданія“...—Ты, папа,—прервалъ его Заратустра,—видѣлъ ли ты все то своими глазами? Могло быть и такъ, могло быть и иначе. Боги умираютъ разнаго рода смертями. Но что-жъ! Такъ или иначе—онъ умеръ. Онъ шокировалъ мои глаза и мой слухъ—худшаго я не хочу говорить о немъ. Я люблю тѣхъ, которые ясно глядятъ и прямо говорятъ. А онъ,—ты знаешь это, старый священникъ, въ немъ было много твоихъ чертъ, священническихъ. Его можно было разно понимать. Его часто и совсѣмъ нельзя было понять. Какъ сердился онъ на насъ за то, что мы его плохо понимали. Но зачѣмъ не говорилъ онъ яснѣе? Если причина была въ нашихъ ушахъ, зачѣмъ далъ онъ намъ уши, которыя плохо слышатъ? Была грязь въ ушахъ нашихъ? Но кто вложилъ ее туда? Слишкомъ многое не удавалось ему. Но въ томъ, что онъ мстилъ своимъ твореніямъ—за то, что они не удались ему—въ этомъ онъ грѣшилъ противъ хорошаго вкуса. И въ благочестіи есть хорошій вкусъ, который говоритъ, наконецъ: прочь съ такимъ богомъ! Лучше совсѣмъ безъ бога, лучше на свой страхъ устраивать свою судьбу, лучше быть дуракомъ, лучше самому быть богомъ“[1]).

---

[1]) A. S. Z. Ausser Dienst.

Пусть читатель не оскорбляется этими словами. Я пишу нарочно богъ съ маленькой буквы, ибо здѣсь идетъ рѣчь о томъ богѣ, который равняется добру, т.-е. о богѣ, пишущемся не съ прописной буквы и служащемъ для проповѣдниковъ ширмой, которой они закрываются отъ учениковъ своихъ. Послушайте, что отвѣтилъ папа Заратустрѣ: „о, Заратустра, со всѣмъ твоимъ невѣріемъ—ты благочестивѣе, чѣмъ ты думаешь. Самъ Богъ обратилъ тебя къ безбожію. Развѣ не благочестіе не дозволяетъ тебѣ вѣрить въ Бога?“ Чтобъ читателю было еще яснѣе, какъ понималъ, могъ понимать Нитше того бога, котораго пришлось убить, приведу одинъ изъ его послѣднихъ афоризмовъ, опредѣляющій нравственный міропорядокъ: „что такое нравственный міропорядокъ? Есть разъ навсегда воля Божья, въ силу которой одно—должно дѣлать, другое—не должно дѣлать. Цѣнность народа и отдѣльной личности опредѣляется тѣмъ, насколько, въ какой мѣрѣ они подчиняются Божьей волѣ“ [1]). Это именно то пониманіе, которое предлагаетъ своимъ ученикамъ гр. Толстой. Гр. Толстой хочетъ, чтобы его ученики приняли законъ, не зная, зачѣмъ онъ, чтобъ Иваны Ильичи отреклись отъ исканія среднихъ благъ, которыя имъ дороже всего въ мірѣ, прежде чѣмъ жизнь ихъ научитъ, что не степенью „пріятности“ измѣряется достоинство человѣческаго существованія. И онъ грозитъ имъ всѣмъ запасомъ выработанныхъ традиціонной нравственностью угрозъ, онъ хочетъ пристыдить, запугать, ужаснуть ихъ—лишь бы они только исполняли правила, т.-е. дѣлали бы то, что имъ въ данную минуту не нужно, чуждо, но что, быть можетъ, они когда-нибудь сочтутъ лучшимъ. Самъ гр. Толстой такъ не жилъ. Онъ всегда дѣлалъ то, что ему нужно было. Теперь—нравственная жизнь и проповѣдь ему нужнѣе всего. Это спасаетъ его отъ мучительныхъ сновъ. Но у другихъ—другіе сны. И имъ—режимъ гр. Толстого ничего дать

[1]) Т. VIII, стр. 247.

не можетъ. Какое же право имѣетъ онъ называть свою нравственность—Богомъ и закрывать пути ищущимъ дѣйствительнаго Бога? Уже разговоръ папы съ Заратустрой показываетъ намъ, какъ мало „Богъ-добро“ могъ удовлетворить Нитше, и какъ представленіе о „Богѣ-судьѣ“ заставило Нитше отшатнуться отъ привычныхъ религіозныхъ представленій. И неудивительно: гр. Толстой всегда имѣлъ возможность „исправиться“. Онъ въ 50 съ лишнимъ лѣтъ могъ нарядиться въ мужика, пахать, заниматься благотворительностью. Но что бы сдѣлалъ онъ, если бы оказался въ положеніи Нитше, когда „исправиться“ нельзя, когда возвратъ невозможенъ, когда будущаго—нѣтъ, а есть только прошедшее? Что тогда бы сказала ему формула—„добро—Богъ“? Это положеніе зналъ гр. Толстой: онъ написалъ „Смерть Ивана Ильича“. Этотъ вопросъ, повторяемъ, просвѣчиваетъ для всѣхъ, кто не закрываетъ глазъ, сквозь краснорѣчивыя и патетическія фразы его проповѣди. Но открыто говорить о немъ гр. Толстой уже не хочетъ. Послушаемъ же Нитше; онъ намъ разскажетъ все то, что разсказалъ бы Иванъ Ильичъ, еслибы ему суждено было 15 лѣтъ прожить въ томъ положеніи, въ какомъ онъ оказался, когда понялъ, что „пропалъ“, что наступилъ „конецъ, совсѣмъ конецъ“.

XI

О Богѣ, такомъ Богѣ, который нуженъ человѣку, понявшему весь ужасъ своего безсилія, о Богѣ, „который можетъ помочь“, какъ говоритъ Гейне, Нитше, конечно, не могъ помышлять. Единственно, что онъ узналъ — это, что̀ потеряли люди, убивши Бога, какую жертву изъ жертвъ принесли они, отказавшись отъ вѣры. Слишкомъ современный человѣкъ, весь проникнутый идеей эволюціи, которая представляетъ намъ нашъ теперешній міръ „естественно“ развившимся изъ туманныхъ пятенъ, а человѣка лишь звеномъ въ этомъ развитіи—какъ могъ дерзнуть онъ помышлять о томъ, что

его случай, т.-е. неудача его жизни, могъ гдѣ-нибудь во вселенной найти себѣ оправданіе?! Онъ зналъ, что такой взглядъ называется антропоцентрическимъ и свидѣтельствуетъ только о наивной притязательности безконечно малой частицы на роль послѣдней цѣли міроздапія. Мы всѣ слишкомъ сжились съ теоріей естественнаго развитія и современному человѣку нужно чрезвычайное напряженіе всѣхъ духовныхъ способностей, чтобъ хоть отчасти вырваться изъ ея власти. И много лѣтъ проходитъ у Нитше, прежде чѣмъ онъ рѣшается отказаться отъ научныхъ предразсудковъ позитивизма, тѣмъ болѣе, что взамѣнъ „положительныхъ“ истинъ онъ не можетъ представить ничего, что въ достаточной степени удовлетворяло бы его новую любознательность. Онъ разбиваетъ прежнія рамки, онъ уже не хочетъ болѣе „умозаключать тамъ, гдѣ можетъ догадаться“, но онъ чувствуетъ, что „всѣ поэты лгутъ, ибо слишкомъ мало знаютъ“, и откровенно признается, что „Заратустра—тоже поэтъ“. Поэтому, даже въ самыхъ послѣднихъ его произведеніяхъ мы наблюдаемъ смѣсь противуположнѣйшихъ вліяній. Съ одной стороны — „естественное развитіе“ и самыя безпощадныя нападки на всѣ попытки представить человѣка чѣмъ-либо большимъ, нежели простымъ продуктомъ случайной игры безсознательныхъ силъ— какъ дань всосанной съ молокомъ матери современной философіи и убѣжденію, что больной не имѣетъ права вѣрить, какъ и не имѣетъ права быть пессимистомъ. Съ другой стороны — насмѣшки надъ позитивизмомъ, утилитаризмомъ и всѣмъ, что имъ сродни, и утвержденія, своей смѣлостью превосходящія самыя смѣлыя мечтанія человѣчества. Первое время своей болѣзни онъ все еще надѣялся найти удовлетвореніе въ чистой наукѣ. Онъ писалъ: „думаешь ли ты, что такая жизнь, такая цѣль слишкомъ тяжка, что она лишена всякой прелести? Значитъ, что ты еще не узналъ, что нѣтъ меда болѣе сладкаго, чѣмъ медъ познанія, и что тяжелыя облака грусти только полныя вымена, изъ которыхъ ты добудешь укрѣпляющее молоко. Пусть придетъ тогда старость и ты

поймешь, что ты слѣдовалъ голосу природы, той природы, которая посредствомъ наслажденія правитъ міромъ. Эта жизнь, которая имѣетъ своей вершиной старость, также имѣетъ своей вершиной и мудрость, этотъ мягкій свѣтъ постоянной духовной радости. И то и другое, и мудрость и старость—ты встрѣтишь на вершинѣ одной горы: такъ желала природа. И пробьетъ тогда часъ—не сердись на то—когда приблизится къ тебѣ туманъ смерти. Пусть послѣднимъ твоимъ усиліемъ будетъ движеніе къ свѣту, послѣднимъ вздохомъ твоимъ—побѣдная пѣснь мудрости“ [1]). Нужно ли говорить о томъ, какъ далеки эти слова отъ выраженія истиннаго настроенія Нитше, что это только „маска“, которую онъ надѣлъ на себя, чтобъ не видно было, что онъ, вопреки принятой на себя обязанности, не могъ не быть въ душѣ пессимистомъ? Эти похвалы мудрости и старости у человѣка, который въ 30 лѣтъ принужденъ быть и мудрымъ, и старымъ—ибо какой еще медъ былъ ему доступенъ?—тѣмъ болѣе подозрительны, чѣмъ обильнѣе онѣ расточаются. Здѣсь Нитше не боялся человѣческой проницательности. Всѣ хвалятъ мудрость и науку, и его голосъ никому не могъ показаться неискреннимъ, кто ничего не зналъ о его личной судьбѣ. А можетъ быть онъ и надѣялся въ самомъ дѣлѣ, что „познаніе“ заглушитъ въ немъ тоску по утраченной жизни и будетъ, если не живительнымъ ключомъ, то ключомъ забвенія, который все же по своему утолитъ жаръ измученнаго сердца. Но, оказалось, что наука ничего не могла ему дать. Вотъ что разсказываетъ Заратустра объ этомъ опытѣ: „слишкомъ далеко залетѣлъ я въ будущее: меня охватилъ ужасъ. Когда я оглянулся вокругъ себя, я увидѣлъ, что одно время было моимъ современникомъ. Тогда полетѣлъ я назадъ домой, и все торопливѣе, и торопливѣе. Такъ пришелъ я къ вамъ, вы, люди настоящаго, въ страну образованія. Въ первый разъ открылъ я на васъ свои глаза—и съ добрыми намѣреніями: поистинѣ, съ

---

[1]) N. W. II, 267.

тоской въ сердцѣ пришелъ я къ вамъ. Но, что случилось со мной? Какъ ни страшно мнѣ было, я принужденъ былъ разсмѣяться. Никогда глазъ мой не видѣлъ ничего, столь пестро разрисованнаго. Я смѣялся, смѣялся, въ то время какъ нога моя еще дрожала, а съ ней и сердце мое. „Здѣсь родина всѣхъ раскрашенныхъ горшковъ“, сказалъ я себѣ. Съ лицами и членами, измазанными пятьюдесятью красками — такъ сидѣли вы, къ моему удивленію — вы, люди настоящаго! И съ пятьюдесятью зеркалами вокругъ себя, которыя льстили вамъ, расхваливая игру вашихъ красокъ... Кто сниметъ съ васъ покрывала и мантіи, краски и гримасы, тотъ увидитъ лишь пугало для птицъ. Поистинѣ, я самъ испуганная птица; я видѣлъ васъ однажды нагими, безъ вашихъ красокъ и я улетѣлъ отъ васъ, какъ улетѣлъ бы отъ скелета, предложившаго мнѣ свою любовь. Охотнѣе готовъ я быть поденщикомъ въ аду и у тѣней прошлаго. Обитатели подземнаго міра плотнѣе и полнѣе, чѣмъ вы... Вы смѣшны и чужды мнѣ, люди настоящаго, къ которымъ еще недавно влекло меня мое сердце; я изгнанъ изъ странъ отцовъ и матерей нашихъ. Но я люблю еще страну дѣтей нашихъ (Kinderland), — еще не открытую, лежащую въ далекомъ морѣ: ее я велю искать парусамъ своимъ“ [1]). Такъ оправдались надежды Нитше на науку, на тотъ сладкій медъ познанія, о которомъ онъ старался столь краснорѣчиво говорить въ „Mensch. Allzumenschliches“. А онъ шелъ къ ней съ лучшими намѣреніями и ничего такъ не боялся, какъ разочароваться въ этихъ своихъ надеждахъ. Наука показалась ему скелетомъ! Онъ охотнѣе готовъ быть поденщикомъ въ царствѣ тѣней, чѣмъ жить съ людьми нашего времени. Скажутъ, что въ этомъ его собственная вина: зачѣмъ ожидалъ онъ отъ науки того, чего она дать не можетъ? Но, куда идти современному человѣку? Гдѣ искать спасенія? И развѣ среди ученыхъ вы не услышите, что ихъ дѣло, ихъ наука, выше всего, что есть, можетъ быть въ мірѣ? И развѣ

---

[1]) A. S. Z. Vom Lande der Bildung.

не естественно человѣку, въ положеніи Нитше, идти спасаться къ наукѣ, послѣ того, какъ дошла до него вѣсть, когда онъ „увидѣлъ и услышалъ“, что „Богъ умеръ“. Онъ искалъ вездѣ, гдѣ могутъ искать люди, шелъ всюду, гдѣ могъ надѣяться найти пріютъ себѣ. И къ ученымъ онъ явился съ лучшими намѣреніями, безъ всякаго желанія критиковать, провѣрять, насмѣхаться. Онъ убѣждалъ себя, что нѣтъ болѣе сладкаго меда, чѣмъ медъ познанія, и подъ познаніемъ разумѣлъ науку—ту науку, которая до него существовала и которая, онъ надѣялся, можетъ утолить его духовную жажду. Нѣсколько лѣтъ подрядъ живетъ онъ, припавши изсохшими губами къ позитивизму, все ожидая, когда, наконецъ, польется изъ того, что онъ называлъ „тяжелыми выменами грусти“, такъ нужное ему „укрѣпляющее молоко“. Удивительно ли, что онъ принужденъ былъ смѣяться, какъ ни было ему тяжело?! Удивительно ли, что впослѣдствіи онъ называлъ Милля „оскорбительною ясностью“, Спенсера, Дарвина—посредственными англичанами? Онъ не могъ отказать имъ въ дарованіяхъ, талантахъ, проницательности—но всего этого онъ уже не цѣнилъ, какъ когда-то, въ былыя времена, когда науку онъ считалъ мудростью, т.-е. лучшимъ, что можетъ быть въ жизни. Теперь, наоборотъ, ясность и законченность ученыхъ системъ оскорбляетъ его. Онъ не можетъ понять, какъ это люди интересуются логическими построеніями, обозрѣніемъ внѣшняго міра, — и не чувствуютъ того, надъ чѣмъ онъ самъ изстрадался и измучился, и равнодушны къ тому, отъ чего онъ приходитъ въ ужасъ; ему кажутся младенцами тѣ ученые, которые, проживя до глубокой старости, могли за своими занятіями проглядѣть трагедію нашего земного существованія, открывшуюся ему при столь исключительныхъ условіяхъ. И онъ „ушелъ изъ дому ученыхъ и захлопнулъ за собой дверь“ [1]).

Своимъ отношеніемъ къ наукѣ Нитше оскорбилъ

---

[1]) A. S. Z. Von den Gelehrten.

профессіональныхъ ученыхъ всѣхъ оттѣнковъ, ибо онъ равно отшатнулся и отъ позитивистовъ, и отъ матеріалистовъ, и отъ идеалистовъ. Отсюда и тотъ особенный тонъ, которымъ говорятъ о Нитше нѣмецкіе профессора. Имъ хочется сказать, что Нитше ушелъ отъ науки не потому, что ему нечего было у нея брать, а потому, что онъ не умѣлъ брать—былъ слишкомъ пылокъ, нетерпѣливъ, порывистъ и т. д.—и потому они, отдавая справедливость его публицистическимъ талантамъ и даже входя въ трагичность его положенія, придаютъ своимъ сужденіямъ о немъ характеръ сознающей свое превосходство снисходительности, исключающей всякую мысль о томъ, что переживанія Нитше могутъ служить испытаніемъ правомѣрности притязаній науки. Нитше для нихъ—блестящій писатель, но не философъ. Онъ—„составитель афоризмовъ“, ему недоставало синтетическихъ способностей, онъ не умѣлъ обобщать въ одно цѣлое свои отрывочныя наблюденія. У Нитше, конечно, какъ и у всякаго человѣка, есть свои недостатки. Но то именно, что ставится ему въ упрекъ нѣмцами, составляетъ, быть можетъ, одно изъ рѣдкихъ его достоинствъ. Намъ интереснѣе, нужнѣе всего, быть можетъ, услышать слово философа, осмѣливающагося говорить, не оглядываясь все время на то, что имъ было уже прежде сказано, изъ боязни, что не получится той логической цѣльности, которая навязывается всякой философіи, какъ conditio sine qua non. Законченность, систематичность—хорошая вещь, если она является сама собой, если противорѣчія въ философской теоріи не сглаживаются опытной рукой, какъ это обыкновенно бываетъ, а оказываются по существу невозможными. Но, послѣдній случай—почти немыслимъ. По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ не было ни одного такого философа, который не связалъ бы себя, ради синтеза, какой-нибудь одной идеей. При такихъ условіяхъ теорія обязываетъ говорить не то, что видишь и чувствуешь, а то, что не противорѣчитъ разъ высказанному убѣжденію. Болѣе того, философъ, съ разъ сложившейся теоріей, перестаетъ видѣть

и чувствовать все то, что не вмѣщается въ устанавливаемыя ею рамки. Въ этомъ отношеніи Нитше свободнѣе другихъ и этимъ онъ отчасти обязанъ афористической формѣ изложенія, принятой имъ, быть можетъ, и противъ воли. Онъ заносилъ на бумагу мысли и впечатлѣнія такими, какими онъ ихъ испытывалъ, не сводя ихъ въ систему. И читателю, конечно, много полезнѣе самому исполнить работу синтеза. Придется потрудиться—но зато есть увѣренность, что Нитше не урѣзывалъ своихъ мыслей и не придумывалъ неправды изъ боязни быть непослѣдовательнымъ. Если бы логическая непогрѣшимость теоретиковъ свидѣтельствовала объ истинности ихъ ученій, тогда, конечно, отсутствіе системы у Нитше обличало бы въ его философіи важный недостатокъ. Но мы знаемъ, въ чемъ секретъ философской „цѣльности“. Уже одно то обстоятельство, что можно назвать цѣлый рядъ теорій, совершенно противуположныхъ одна другой, и тѣмъ не менѣе одинаково послѣдовательно построенныхъ, научаетъ насъ не слишкомъ дорожить этой стороной философской концепціи, болѣе того, даже тяготиться ею. Если философъ становится очень послѣдовательнымъ и убѣдительнымъ, мы почти что чувствуемъ въ этомъ лишній соблазнъ и только еще внимательнѣе настораживаемся, такъ какъ знаемъ, что его логичность не даромъ имъ добыта и во всякомъ случаѣ взята имъ не изъ природы разбираемыхъ имъ явленій (особенно, когда дѣло касается сложныхъ и трудныхъ вопросовъ). Мы хотимъ, чтобы возможная степень послѣдовательности явилась сама собой, какъ слѣдствіе того, что думаетъ, видитъ, чувствуетъ—одинъ человѣкъ, если уже нельзя мечтать о томъ, чтобъ систематичность обусловливалась дѣйствительной возможностью охватить рѣшительно все, что подлежитъ философскому изслѣдованію. Работа же надъ сглаживаніемъ противорѣчій намъ кажется опасной и рискованной, ибо, волей-неволей, за чертой системы останется много, чего бы отбрасывать ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало. Поэтому, упреки, посылаемые нѣмецкими

профессорами по адресу Нитше, могутъ быть справедливы только въ слабой степени, посколько онъ пытался пристегнуть къ своимъ взглядамъ чисто внѣшнія обоснованія. Но, какъ уже было замѣчено, Нитше рѣдко прибѣгалъ къ такимъ пріемамъ, и лучше всего ихъ просто игнорировать, какъ, напримѣръ, такъ усердно опровергаемыя критикой филологическія соображенія относительно словъ „bonus“ и „malus“. Намъ важны не тѣ соображенія, которыя онъ придумывалъ, а тѣ мысли и чувства, которыя онъ переживалъ. Если ему приходилось испытывать различныя, часто противуположныя, настроенія—и онъ не побоялся отмѣтить и тѣ и другія, тѣмъ лучше для насъ. Мы сами уже должны умѣть, сообразуясь съ общимъ характеромъ переживаній человѣка, отдѣлить постоянное и важное отъ случайнаго и не-важнаго, даже не считаясь съ тѣмъ, что онъ самъ хотѣлъ поставить на видъ, что онъ самъ цѣнилъ въ себѣ наиболѣе. Ибо, говоря словами Нитше, „лучшаго, что есть въ тебѣ, ты самъ не знаешь“—другіе легче это могутъ узнать. Въ концѣ концовъ у насъ, конечно, получится цѣльность впечатлѣнія — но не логическая, а психологическая. У насъ будетъ не законченная система, а законченный человѣкъ, что, само собою разумѣется, не значитъ одно и то же.

Итакъ, наука, на которую Нитше возлагалъ столько надеждъ, которая должна была замѣнить ему всѣ радости жизни, всѣ утѣшенія религіи, не дала и не могла дать ему ничего. Того, что ему нужно было, въ наукѣ не было. Для того, чтобы читатель могъ судить о душевномъ состояніи Нитше въ тотъ періодъ, когда онъ перебѣгалъ отъ одного святого мѣста къ другому, въ тщетномъ чаяніи найти, наконецъ, себѣ успокоеніе, мы приведемъ одинъ небольшой отрывокъ изъ „Also sprach Zarathusra“. Среди разговора съ карликомъ о „вѣчномъ возвращеніи“, до Заратустры вдругъ донесся страшный вой собаки... „Куда исчезъ карликъ и перекрестокъ, и паукъ? И наши перешептыванія? Было ли то во снѣ? Или наяву? Я увидѣлъ вдругъ, что стою среди дикихъ

скалъ, одинъ, облитый пустыннымъ луннымъ свѣтомъ. Но здѣсь же лежалъ человѣкъ. И собака съ ощетинившейся шерстью прыгала и визжала; когда она увидѣла, что я подошелъ, она снова завыла, она закричала; никогда не приходилось слышать мнѣ, чтобъ собака такъ звала на помощь. И поистинѣ, ничего подобнаго тому, что я увидѣлъ, не видѣлъ я никогда. Я увидѣлъ молодого пастуха, задыхающагося, скорчившагося, скрючившагося, съ перекосившимся отъ ужаса лицомъ. Изо рта его висѣла черная, тяжелая змѣя. Видѣлъ ли я когданибудь столько отвращенія и блѣднаго ужаса на одномъ лицѣ? Онъ, вѣрно, спалъ, и змѣя вползла ему въ ротъ и впилась въ него. Моя рука схватила змѣю, чтобъ оторвать ее: напрасно. Я не могъ оторвать змѣю. Тогда что-то крикнуло изъ меня: откуси, откуси. Откуси ей голову, такъ крикнули изъ меня мой ужасъ, моя ненависть, мое отвращеніе, мое состраданіе, все, что есть во мнѣ дурного и хорошаго.— Вы, смѣлые люди! Вы, искатели, вы, искусители, вы, которые выѣзжаете на хитрыхъ парусахъ въ неизслѣдованныя моря! Вы, радующіеся загадкамъ! Разгадайте мнѣ ту загадку, которую я тогда видѣлъ... Кто былъ этотъ пастухъ, которому вползла въ ротъ змѣя? Кто былъ тотъ человѣкъ, которому все самое тяжелое, самое черное вошло въ душу?“ [1]).

Такіе образы посѣщали Нитше въ его странствованіяхъ. Могутъ, могли его успокоить толстовскіе разсказы „Кавказскій плѣнникъ“ и т. д. или разсужденія о добрѣ, или наука? Не правъ ли онъ былъ, что отвернулся отъ всего этого и пошелъ по своему пути?

XII

Нитше былъ и у „добра“, у толстовскаго добра и, быть можетъ, это—наиболѣе мучительная страница его мучительной повѣсти. Нитше хотѣлъ, какъ помнитъ читатель, „любовью къ ближнимъ“ заполнить свое суще-

---

[1]) A. S. Z. Vom Gesicht und Räthsel.

ствованіе, закрыться отъ грозныхъ призраковъ, посѣщавшихъ его. И вотъ, что изъ этого вышло. Добро сказало ему: „вы убѣгаете къ ближнему отъ самихъ себя и хотите изъ этого еще свою добродѣтель сдѣлать, но я насквозь вижу ваше самоотреченіе“ [1]).

Такимъ языкомъ заговорило добро къ человѣку, предъ которымъ были закрыты двери всѣхъ убѣжищъ, гдѣ люди обыкновенно находятъ себѣ успокоеніе. Нитше, никого не убившій, никого не обидѣвшій, ни въ чемъ не провинившійся, могъ, вслѣдъ за Макбетомъ, повторить его страшныя слова: „зачѣмъ не могъ я произнесть аминь? я такъ нуждался въ милосердьи Бога!“ Онъ говоритъ про себя: „но худшимъ врагомъ, какого можешь ты только встрѣтить, всегда будешь ты самъ; самъ станешь ты выслѣживать себя въ пещерахъ и лѣсахъ... Ты будешь для себя и еретикомъ, и вѣдьмой, и предсказателемъ, и глупцомъ, и сомнѣвающимся, и нечистымъ, и злодѣемъ. Ты долженъ сгорѣть на своемъ собственномъ пламени: какъ хочешь обновиться ты, не обратившись прежде въ пепелъ?“ [2]) Узнаетъ ли читатель въ тонѣ и характерѣ этихъ рѣчей стараго знакомаго, судью, который преслѣдовалъ, по нашимъ представленіямъ, только „дурныхъ“ и „виноватыхъ“ людей? Если не узнаетъ, то приведемъ еще одинъ отрывокъ, въ которомъ всѣ особенныя черты „категорическаго императива“, травившаго до сихъ поръ, по нашимъ и кантовскимъ понятіямъ, только нарушителей правилъ, сказываются съ особенной силой. Цитируемъ его въ подлинникѣ, ибо переводъ никогда не сохранитъ энергіи и страстности оригинала, что въ данномъ случаѣ имѣетъ рѣшающее значеніе, ибо говоритъ о категоричности императива:

Will Jemand ein wenig in das Geheimniss hinab- und hinunter sehn, wie man auf Erden Ideale fabrizirt? Wer hat den Muth dazu?... Wohlan! Hier ist der Blick offen in diese dunkle Werkstätte. Warten sie noch einen Augenblick,

---

1) Ib. Von der Nächstenliebe.
2) Ib.

mein Herr Vorwitz und Wagehals: Ihr Auge muss sich erst an dieses falsche schillernde Licht gewöhnen... So! Genug! Reden sie jetzt! Was geht da unten vor? Sprechen sie aus, was sie sehen, Mann der gefährlichsten Neugierde—jetzt bin ich der, welcher zuhört.—Ich sehe nichts, ich höre um so mehr. Es ist ein vorsichtiges tuckisches leises Munkeln und Zusammenflüstern aus allen Ecken und Winkeln. Es scheint mir, dass man lügt; eine zuckrige Milde klebt an jedem Klange. Die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden, es ist kein Zweifel—es steht damit so, wie sie es sagten"—

— Weiter!

— „und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur „Güte"; die ängstliche Niedrigkeit zur „Demuth"; die Unterwerfung vor Denen, die man hasst, zum „Gehorsam" (nämlich gegen Einen, von dem sie sagen, er befehle diese Unterwerfung,— sie heissen ihn Gott). Das Unoffensive des Schwachen, die Feigheit selbst, an der er reich ist, sein An-der-Thür-stehn. sein unvermeidliches Warten-müssen, kommt hier zu guten Namen, als „Geduld", heisst auch wohl die Tugend; das Sich-nicht-rächen-können heisst sich-nicht-rächen-wollen, vielleicht selbst Verzeihung („denn sie wissen nicht, was sie thun – wir allein wissen es, was sie thun!"). Auch redet man von der „Liebe zu seinen Feinden"—und schwitzt dabei"

— Weiter!

„Sie sind elend, es ist kein Zweifel, alle diese Munkler und Winkel-Falschmünzer, ob sie schon warm bei einander hocken—aber sie sagen mir, ihr Elend sei eine Auswahl und Auszeichnung Gottes, man prügele die Hunde, die man am liebsten habe; vielleicht sei dies Elend auch eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine Schulung, vielleicht sei es noch mehr,—Etwas, das einst ausgeglichen und mit ungeheuren Zinsen in Gold, nein! in Glück ausgezahlt werde. Das heissen sie „die Seligkeit".

Weiter!

„Jetzt geben sie mir zu verstehen, dass sie nicht nur besser seien als die Mächtigen, die Herrn der Erde, deren Speichel sie lecken müssen (nicht aus Furcht, ganz und

gar nicht aus Furcht!) dass sie nicht nur besser seien, sondern es auch „besser hätten“, jedenfalls einmal besser haben würden. Aber genug! genug! Ich halte es nichi mehr aus. Schlechte Luft! Dise Werkstätte, wo man Ideale fabrizirt — mich dünkt, sie stinkt vor lauter Lügen“ [1]).

Можетъ ли быть хоть на минуту сомнѣніе, кто такъ говоритъ? Гдѣ еще, если не у Шекспировскаго Макбета чувствуется такое настроеніе ужаса предъ самимъ собой? Кто не признаетъ въ этихъ словахъ голоса совѣсти, угрызеній совѣсти? Только на этотъ разъ—совѣсть приняласъ за совсѣмъ несвойственное ей дѣло. Вмѣсто того, чтобы корить, проклинать, предавать анаѳемѣ, отлучать отъ Бога и людей человѣка за то, что онъ былъ „дурнымъ“, она преслѣдуетъ его за то, что онъ былъ „хорошимъ“. Вмѣсто того, чтобъ ставить ему въ вину, что онъ былъ злымъ, гордымъ, мстительнымъ, непочтительнымъ, праднымъ — она его упрекаетъ за то, что онъ былъ смиреннымъ, добрымъ, кроткимъ, трудолюбивымъ, почтительнымъ! Оказывается, что совѣсть бичуетъ не только за то, что человѣкъ преступилъ „правила“, но и за то, что онъ относился къ нимъ со всѣмъ тѣмъ уваженіемъ, о которомъ говоритъ Кантъ. И сила ея упрековъ не только не ослабѣваетъ, но, пожалуй, даже растетъ. Мученія Нитше—ужаснѣе переживаній Макбета. А „грѣховъ“ за нимъ—нѣтъ. Это онъ только разсчитывается за свои добродѣтели, это онъ лишь подводитъ итоги, во что ему обошлось его „доброе имя“. Въ такой роли до сихъ поръ совѣсть открыто еще не выступала: развѣ только въ первой части „Преступленія и Наказанія“; но зато во второй половинѣ этого романа она вполнѣ оправдываетъ свое прошлое, становясь вновь на защиту всегда бывшаго ей любезнымъ „правила“. У Нитше же этого нѣтъ. До конца жизни совѣсть говоритъ въ немъ противъ всего „добраго“, что было въ немъ, и приводитъ его, наконецъ, къ признанію, что все „хорошее“—„дурно“, и наоборотъ. Изъ этихъ настроеній вы-

1) N. W. Томъ 7-й, Zur Genealogie der Moral I. Abh. § 14.

текла его философія и, конечно, „опровергать“ ее—какъ это дѣлаютъ нѣмецкіе профессора — указаніемъ на то обстоятельство, что Нитше не достаточно „глубоко“ понималъ Канта, менѣе всего умѣстно. Не въ Кантѣ тутъ дѣло. Предъ нами фактъ необычайнаго, огромнаго значенія: совѣсть возстала въ человѣкѣ противъ всего, что было въ немъ „добраго“. Онъ требуетъ отъ насъ, чтобъ мы вновь пересмотрѣли всѣ обычныя наши представленія о добрѣ и злѣ, закрывавшія доселѣ отъ нашихъ глазъ психологію людей, подобныхъ Нитше. Повторяю, ошибочно думать, что Нитшевскія переживанія являются единственными въ своемъ родѣ, новыми, небывалыми. Наоборотъ, быть можетъ, они гораздо чаще встрѣчаются, чѣмъ принято думать. Но ихъ обыкновенно замалчиваютъ. Они смиряются предъ ожидающимъ ихъ всеобщимъ осужденіемъ. Заслуга Нитше лишь въ томъ, что онъ осмѣлился поднять за нихъ свой голосъ, сказать громко то, что другіе говорили лишь про себя, чего другіе и про себя говорить не смѣли, ибо боялись даже называть собственными именами то, что происходило въ ихъ душѣ. Быть можетъ, и самъ Нитше былъ бы менѣе смѣлъ—если бы онъ не находился въ положеніи человѣка, которому уже нечего терять, у котораго нѣтъ выбора. „Нужно эту опасность видѣть вблизи, болѣе—нужно на себѣ ее пережить, нужно быть изъ-за нея на краю гибели, для того, чтобы понять, что это не шуточное дѣло“ [1]), говоритъ онъ по поводу теологическаго инстинкта о томъ, что съ нимъ дѣлала нравственность.—

Въ чемъ же была эта опасность, отъ которой чуть не погибъ Нитше? Какъ всегда, — наиболѣе важное и значительное въ жизни писателя событіе остается для насъ тайной. Въ поясненіе приведенной выше цитаты мы можемъ лишь выписать другіе отрывки изъ его произведеній; но и въ нихъ мы найдемъ лишь признанія общаго характера. Конкретный, дѣйствительный фактъ,

---

[1]) T. VIII. 223 стр.

по всей вѣроятности, никогда не будетъ названъ своимъ настоящимъ именемъ. Какое „innere Besudelung“ кроется подъ всѣми признаніями Нитше? Онъ много ужаснаго, какъ помнитъ читатель, разсказываетъ о психологіи великихъ людей—но все тоже въ относительно общихъ словахъ. Какъ ни трудны такія признанія даже тогда, когда ихъ дѣлаютъ въ не прямой формѣ,—но ихъ все же легче вырвать изъ себя, чѣмъ разсказать о дѣйствительныхъ своихъ переживаніяхъ.

Нитше спрашиваетъ: „въ чемъ твоя величайшая опасность?“ и отвѣчаетъ: „въ состраданіи“. Рядомъ съ этимъ другой вопросъ: „въ чемъ проявляется высшая гуманность?“ Отвѣтъ: „Jemandem Scham ersparen“ [1]). Очевидно, состраданіе и стыдъ погубили его. Впослѣдствіи, когда онъ вспоминалъ, что дѣлали съ нимъ состраданіе и стыдъ, эти исполнительные агенты нравственности, воплощающіе собою внутреннее принужденіе, его охватывалъ мистическій ужасъ и то отвращеніе къ морали, въ pendant къ которому можетъ быть приведено только отчаяніе самыхъ страшныхъ преступниковъ при воспоминаніи о совершонныхъ имъ злодѣйствахъ. Я говорю „самыхъ страшныхъ“, т.-е. такихъ, для которыхъ нѣтъ и не можетъ быть спасенія, которые знаютъ, что они навѣки погубили свою душу, что они преданы навсегда во власть сатаны, говоря языкомъ Макбета,—ибо обыкновенные укоры совѣсти, даже у глубокихъ и сильныхъ людей, не могутъ пойти въ сравненіе съ переживаніями Нитше. Мы знаемъ исповѣдь гр. Толстого, мы понимаемъ, изъ какого настроенія самопрезрѣнія родилась „Крейцерова соната“. Но это все еще не то. Гр. Толстой находилъ подъ мужицкой одеждой и за работой въ полѣ не только успокоеніе, но и отраду—хотя бы лишь и на время. У Нитше же подъ каждой строчкой его сочиненій бьется измученная и истерзанная душа, которая знаетъ, что нѣтъ и не можетъ быть для нея милосердія на землѣ. И ея „вина“ лишь въ томъ, что

---

[1]) N. W. T. V, стр. 205.

состраданіе и стыдъ имѣли слишкомъ большую власть надъ ней, что она видѣла въ нравственности—Бога и повѣрила въ этого Бога, наперекоръ всѣмъ основнымъ инстинктамъ своимъ...

Гр. Толстой теперь говоритъ, что „добро—есть Богъ!“ Его прошлая жизнь, его личный опытъ были таковы, что провѣрить возвѣщаемый принципъ онъ не могъ. Хотя онъ и искалъ добра всю свою жизнь, но, какъ помнитъ читатель, онъ всегда умѣлъ укладывать это добро на прокрустово ложе собственныхъ нуждъ. Смотря по обстоятельствамъ, онъ то его вытягивалъ, то обрѣзывалъ, т. ч. оно не смѣло отказать въ своемъ благословеніи Левину даже тогда, когда онъ, забывъ и состраданіе, и стыдъ, которые когда-то мучали его, принялъ настолько скромный и благообразный видъ, что могъ свободно фигурировать на страницахъ „Русскаго Вѣстника“. У Нитше этого не было. Со всей наивной безпечностью и горячей вѣрой нѣмецкаго идеалиста онъ и душу и тѣло свое отдалъ своей святынѣ. И, тѣмъ не менѣе, укоры совѣсти преслѣдовали его со всей той силой, о которой повѣствуетъ Шекспиръ въ „Макбетѣ“. И не за то, что онъ не послушался добра, а за то, что онъ честно и вѣрно—предъ другими и предъ самимъ собой—исполнялъ свой „долгъ“. Если „внутренній голосъ“ является рѣшительнымъ судьей прошлой жизни человѣка, если „душевныя муки раскаянія“ служатъ показателемъ въ вопросахъ добра и зла, какъ утверждали до сихъ поръ философы и психологи, если приговоръ „категорическаго императива“ не имѣетъ надъ собой высшей инстанціи,—то исторія Нитше проливаетъ совершенно новый свѣтъ на наши представленія о морали. Всѣ тѣ настроенія, которыми до сихъ поръ поддерживались суверенныя права нравственности, которыми можно было грозить безпокойнымъ ослушникамъ категорическаго императива, оказались безличными, двуличными слугами, одинаково ревностно исполняющими свои инквизиторскія обязанности, независимо отъ того, исходитъ ли приказъ отъ оскорбленнаго добра или пренебреженнаго зла. Болѣе того, по-

вторимъ это, у гр. Толстого нѣтъ того ужаса предъ своей грѣховностью въ прошломъ, какъ у Нитше при воспоминаніи о его праведной жизни. Пренебреженное „добро“ простило гр. Толстого, когда онъ раскаялся и сталъ свидѣтельствовать противъ своего прошлаго; но зло не помиловало Нитше, хотя онъ отрекся отъ своей праведности и прославлялъ грѣхъ въ такихъ страстныхъ гимнахъ, какіе и на долю добра, такъ избалованнаго въ этомъ отношеніи, не часто выпадали. До самыхъ послѣднихъ минутъ жизни Нитше, во всемъ, что онъ писалъ, чувствуется такое глубокое, такое безысходное отчаяніе отъ сознанія, что нельзя смыть съ себя позора прошлой добродѣтельности, отъ котораго бросаетъ въ дрожь всякаго человѣка, догадавшагося, какія переживанія таятся подъ блестящими рѣчами несчастнаго писателя.

Правда, Нитше нигдѣ почти прямо и открыто не разсказываетъ о своёмъ прошломъ: такое прошлое не разсказывается. Наоборотъ, онъ всѣми силами старается скрыть свои переживанія, и ничего не льститъ больше его измученной душѣ, чѣмъ надежда остаться неразгаданнымъ. Когда Брандесъ назвалъ его ученіе „аристократическимъ радикализмомъ“, т.-е. примѣнилъ къ Нитше два пошлыхъ или опошленныхъ слова (у датскаго критика непочатый уголъ такихъ словъ), даже съ внѣшней стороны не характеризующихъ философіи Нитше, этотъ послѣдній былъ въ восторгѣ и утверждалъ, что это самое умное, что онъ слышалъ о себѣ. Вѣрнѣе, въ словахъ Брандеса Нитше видѣлъ лишь доказательство, что его цѣль достигнута, что люди настолько ослѣплены его литературой, что не думаютъ о немъ самомъ. А это именно ему и нужно было. Онъ всего болѣе боялся быть разгаданнымъ и потому придавалъ своимъ признаніямъ такую форму, будто они никакого отношенія къ нему не имѣли. Брандесъ, самъ всегда пишущій о томъ, что къ нему никакого отношенія не имѣетъ, спокойно повѣрилъ, что „аристократическій радикализмъ“—это все, что можно найти у Нитше. Какъ мало такія слова объясня-

ютъ Нитше, или, вѣрнѣе, какъ далеко они уводятъ отъ Нитше, можетъ пояснить слѣдующій отрывокъ изъ одного его афоризма: „бываютъ „веселые люди“, которые пользуются веселостью, какъ средствомъ, ибо, благодаря ей, они надѣются остаться непонятыми: они хотятъ быть непонятыми. Бываютъ ученые люди, которые прикрываются наукой—ибо наука придаетъ веселый видъ и, затѣмъ, ученость наводитъ на мысль, что человѣкъ поверхностенъ: они хотятъ привести къ ошибочному заключенію. Бываютъ смѣлые libres esprits, которымъ бы хотѣлось скрыть отъ людей свои разбитыя, гордыя, неизлѣчимыя сердца (цинизмъ Гамлета, случай Галліани),—иногда даже глупость служитъ маской для несчастнаго, слишкомъ несомнѣннаго знанія (unseliges allzugewisses Wissen)... Изъ всего этого слѣдуетъ, что гуманность требуетъ, чтобъ люди относились съ уваженіемъ къ маскѣ и не проявляли неумѣстную психологическую проницательность и любопытство“ [1]). Въ другомъ мѣстѣ Нитше замѣчаетъ: „развѣ книги не затѣмъ пишутся, чтобъ скрыть то, что таишь въ себѣ“ [2]). Но, если „маска“ многое скрываетъ, то часто она еще болѣе выдаетъ. Общая исторія Нитше все-таки сказывается въ его сочиненіяхъ и его „обоснованія морали“ такъ или иначе выясняются предъ внимательнымъ читателемъ. Само собою разумѣется, что здѣсь не можетъ быть и рѣчи о логическомъ или историческомъ обоснованіи. И въ этомъ-то вся оригинальность и весь интересъ философіи Нитше, въ этомъ—его право на наше исключительное вниманіе. Если бы онъ коснулся своей „проблемы морали“ лишь щупальцами холоднаго разума—какъ бы онѣ чувствительны ни были—иными словами, если бы онъ лишь отыскивалъ для нравственности мѣсто въ той или иной философской системѣ—онъ, навѣрное, не пришелъ бы ни къ какимъ новымъ результатамъ. Онъ сохранилъ бы неизбѣжный категорическій импера-

---

[1]) N. W. VII. 259.
[2]) Ib. стр. 268.

тивъ, которымъ явленія нравственной жизни отдѣляются отъ другихъ явленій нашей психики, и затѣмъ—смотря по тому, какая школа пришлась бы ему по вкусу, говорилъ бы либо о непосредственной интуиціи, либо о „естественномъ“ происхожденіи моральныхъ представленій. Изъ этого заколдованнаго круга логическихъ построеній нѣтъ возможности выбраться посредствомъ логическихъ же разсужденій. До тѣхъ поръ, пока совѣсть предполагается стоящей исключительно на стражѣ „добра“—а всѣ доселѣ существовавшія системы нравственности обязательно основывались на этомъ предположеніи, и Канту только принадлежитъ терминъ „категорическій императивъ“—до тѣхъ поръ точка зрѣнія Нитше была рѣшительно невозможна. Если только „добро“ охраняется угрызеніями совѣсти, то, очевидно, оно должно быть выдѣлено въ особую категорію, хотя бы тысячу разъ было доказано „естественное“ происхожденіе нравственныхъ представленій. Изслѣдованія англійскихъ философовъ и психологовъ служатъ наилучшей иллюстраціей этого. Если нравственность—только переряженная польза, если она—только выраженіе общественныхъ отношеній, то, очевидно, у нея должны быть отняты всѣ ея святые аттрибуты и ее нужно поставить въ уровень съ чисто полицейскими распоряженіями (тоже очень полезными, даже необходимыми), охраняющими порядокъ и безопасность людей. Но вѣра въ святость нравственности была такъ глубока, убѣжденіе въ томъ, что „чистая совѣсть“—самое драгоцѣнное сокровище въ мірѣ, послѣдняя и самая прочная опора человѣка, — настолько срослось съ обычными представленіями людей, что англійскимъ мыслителямъ не могло даже и на минуту придти въ голову подозрѣніе, что объясненная нравственность можетъ лишиться того престижа, который имѣла нравственность необъясненная. Они были вполнѣ убѣждены, что никакія теоріи не могутъ разрушить обаянія святости морали—и именно потому такъ безбоязненно называли пользу прародителемъ нравственности. Ихъ изслѣдованія вовсе не имѣли своей задачей провѣрить зако-

номѣрность притязаній нравственныхъ людей на исключительныя привилегіи душевнаго спокойствія, всеобщаго уваженія и т. д. Это значило бы возстать на самихъ себя—чего добровольно никто не дѣлаетъ. Если и писались книжки, то исключительно съ научной, т.-е. невинной цѣлью, изъ безпечной любознательности, заранѣе увѣренной, что серіозныхъ жертвъ отъ нея не потребуется. Вопросъ шелъ только о торжествѣ посторонняго, чисто внѣшняго философскаго принципа, непосредственной связи съ личной судьбой философа не имѣвшаго. Есть ли нравственность потомокъ пользы или дитя интуиціи—все равно она оставалась въ одинаковомъ почетѣ и результатъ изслѣдованія никоимъ образомъ не могъ передвинуть самого философа изъ разряда добрыхъ въ разрядъ злыхъ, уготовить ему макбетовскія терзанія. Милль или Спенсеръ даже для формы не ставили такого вопроса: точно ли имъ полагается быть спокойными, а преступникамъ—угрызаться? Такой вопросъ они сочли бы „безнравственнымъ“: это значило бы сомнѣваться въ томъ, что выше—добро или зло. А въ этомъ они не только не сомнѣвались, но даже не знали, что въ этомъ можно сомнѣваться, что кто-нибудь когда-нибудь усомнится въ этомъ. Они говорили лишь о томъ, почему добро выше зла, и то не затѣмъ, чтобъ увѣрить себя въ своей правотѣ, а лишь въ силу привычки всюду приставлять это „почему“, гдѣ только его можно какъ-нибудь приладить. Но за всѣмъ тѣмъ они были глубоко увѣрены, что святыя прерогативы нравственности останутся сохраненными, къ какимъ бы результатамъ ни привели ихъ изслѣдованія, и что макбетовскія исторіи останутся навсегда для Макбетовъ и ихъ, философовъ, никоимъ образомъ коснуться не могутъ. Поэтому, Нитше былъ совершенно правъ, утверждая, что онъ первый возбудилъ вопросъ о нравственности. Онъ говоритъ: „во всей, донынѣ существовавшей наукѣ о морали недоставало—какъ странно ни звучитъ это—самой проблемы нравственности, не существовало даже и подозрѣнія, что здѣсь есть что-либо проблематическое.

То, что философы называли обоснованіемъ морали и чего они требовали отъ себя, было только, въ сущности, ученой формой доброй вѣры въ господствующую мораль, т.-е. однимъ изъ фактовъ въ предѣлахъ этой же морали, иначе говоря, въ концѣ концовъ, просто отрицаніемъ того, что мораль можетъ быть представлена въ видѣ проблемы“ [1]). И,—что самое важное,—своеобразное отношеніе Нитше къ нравственности не явилось результатомъ отвлеченныхъ разсужденій. Вопросъ о значеніи нравственности разрѣшился не въ головѣ Нитше и не путемъ умозаключеній—а въ глубокихъ тайникахъ его души и черезъ мучительнѣйшія переживанія. И на этотъ разъ, какъ всегда почти,—чтобъ явилась новая истина, потребовалась новая Голгоѳа. Понять и оцѣнить значеніе нравственности могъ лишь тотъ, кто всего себя принесъ ей въ жертву. Нитше исполнилъ всѣ ея требованія, во всемъ подчинился ей, заглушилъ въ себѣ всѣ протесты противъ нея, сдѣлалъ ее своимъ Богомъ. И, какъ истинно вѣрующій человѣкъ, онъ не только въ поступкахъ своихъ, но даже и въ мысляхъ не измѣнялъ своей святынѣ, не разрѣшалъ себѣ никакихъ сомнѣній въ ея божественномъ происхожденіи. Онъ во всей полнотѣ провѣрилъ на себѣ выдвигаемую теперь гр. Толстымъ формулу—„добро есть Богъ“, т.-е. ничего, кромѣ добра, не нужно искать въ жизни. Страшнымъ откликомъ на эту вѣру его юныхъ дней являются слова Заратустры: „замолчанныя истины становятся ядовитыми“. Только тотъ, кто, какъ Нитше, всего себя отдалъ одной истинѣ и замолчалъ всѣ другія—можетъ говорить о ядовитыхъ истинахъ. Для другихъ людей истина—только болѣе или менѣе удачная и остроумная гипотеза. Вѣра въ суверенныя, божественныя права морали отравила душу Нитше, и этотъ ядъ жегъ его до послѣдней минуты сознательной жизни. Философія его—не дерзновенная игра испытаннаго ума, ищущаго смутить спокойствіе ближнихъ насмѣшливымъ сомнѣніемъ въ святости ихъ

---

[1]) N. W. VII, 114.

идеаловъ. Уже самый тонъ его сочиненій, столь глубоко серіозный и страстный, исключаетъ такое предположеніе. Правда, онъ иногда пытается изобразить изъ себя человѣка, играющаго святынями. Но это все—напускное. Это—zur Schau getragene Tapferkeit des Geschmaks, которую люди, какъ онъ говоритъ, напускаютъ на себя, чтобъ казаться поверхностными и скрыть свои настроенія. Подъ этимъ кроется „страшная увѣренность человѣка, который много страдалъ,—что въ силу его страданій ему дано больше знать, чѣмъ знаютъ самые ученые и самые мудрые“[1]). И что онъ зналъ? Въ чемъ его тайна? Она, дѣйствительно, ужасна, и ее можно передать въ немногихъ словахъ: „мученія Макбета уготовлены не только для тѣхъ, кто служилъ злу, но и для тѣхъ, кто служилъ добру“. Нитше первый сказалъ это. А „первенцы приносятся въ жертву“—die Erstlinge werden geopfert. Заратустра испыталъ это на себѣ.

XIII

И здѣсь, по поводу нравственности, можно сказать то же, что Нитше говорилъ по поводу религіи. Огромное большинство людей и не подозрѣваетъ, что съ нравственностью можно соединить такъ много надеждъ и упованій. Тѣ, которые условіями и событіями своей жизни не придвигались слишкомъ близко къ этимъ „послѣднимъ“ вопросамъ нашего существованія, быть можетъ, и не поймутъ вовсе, о чемъ хлопочетъ Нитше. Имъ покажется, что здѣсь идетъ рѣчь о простой любознательности, да къ тому же еще такой, которая вполнѣ удовлетворена быть не можетъ, такъ какъ, сколько ни бейся, ничего опредѣленнаго все равно здѣсь не узнаешь и дальше, болѣе или менѣе, остроумныхъ и вѣроятныхъ догадокъ не пойдешь. Та страстность, съ которой Нитше набрасывается на эти и смежные имъ вопросы, удивляетъ многихъ, рѣшительно не могущихъ догадаться,

---

[1]) T. VII, стр. 258.

изъ-за чего весь этотъ шумъ. „Мы не знаемъ ничего вѣрнаго о Богѣ и нравственности—и никогда не узнаемъ. Стоитъ ли изъ-за этого волноваться и отравлять себѣ и другимъ жизнь?“ разсуждаютъ они.

Несомнѣнно—не стоитъ тому, кто такъ думаетъ, и лучшее, что онъ можетъ сдѣлать, это остаться въ сторонѣ отъ чуждыхъ ему споровъ, ненужной ему философіи и непонятной поэзіи. Въ этомъ отвѣтъ на основное положеніе гр. Толстого о популяризаціи науки и искусства. Заинтересовать всѣхъ тѣмъ, о чемъ размышляютъ Толстые и Нитше, не только не возможно, но и не нужно. Болѣе того, не нужно даже, чтобы существовало убѣжденіе, что способность исключительно отдаваться высшимъ вопросамъ науки и искусства выгодно отличаетъ человѣка. Этимъ предразсудкомъ, къ сожалѣнію, столь же распространеннымъ, сколько и ложнымъ, создается множество людей, противъ своего желанія предающихся ненужнымъ имъ занятіямъ, читающихъ скучныхъ для нихъ философовъ и поэтовъ и разсуждающихъ о предметахъ, до которыхъ имъ нѣтъ дѣла. Они этимъ отдаютъ дань общественному мнѣнію, столь возносящему чисто „духовные“ интересы. Но цѣнность этой дани далеко не одинакова для платящихъ и собирающихъ ее. Невольники философіи тратятъ даромъ время и трудъ, а общество ничего не пріобрѣтаетъ, кромѣ пустословящихъ людей. И, главное,—эти люди могли бы дѣлать другое дѣло, очень полезное и хорошее, лучшее, быть можетъ, чѣмъ настоящія философскія занятія, и только въ силу предразсудка убиваютъ время на разговоры, ни имъ, ни кому другому не нужные. Поэтому, менѣе всего слѣдуетъ заботиться о томъ, чтобъ сдѣлать науку и искусство доступными „всѣмъ“. „Всѣмъ“ нужно одно, „нѣкоторымъ“ другое. И не потому, повторяю, что „нѣкоторые“ лучше, выше „всѣхъ“; быть можетъ—„всѣ“ лучше „нѣкоторыхъ“. Этотъ вопросъ и ставить не слѣдуетъ, а, тѣмъ менѣе, разрѣшать его. Но, несомнѣнно, что до настоящаго времени о такой философіи и такой поэзіи, которая была бы равно нужна всѣмъ,

и рѣчи быть не можетъ. Заставить, напримѣръ, Нитше, какъ того требуетъ гр. Толстой, писать сказки для дѣтей или для народа на тему „черный хлѣбушка—калачу дѣдушка“, въ то время, когда въ теченіе многихъ лѣтъ макбетовскія видѣнія смущаютъ его ночной покой, точно онъ самъ „зарѣзалъ сонъ“—еще менѣе законно и справедливо, чѣмъ заставлять дѣтей читать „Also sprach Zarathustra“. Если Нитше говоритъ о Богѣ, нравственности, наукѣ—и говоритъ то, что онъ зналъ и чувствовалъ, и чего знать и чувствовать другимъ нельзя и не нужно, если его поэзія недоступна, кажется даже безсмысленной многимъ людямъ, не пытавшимся „подавать руку привидѣніямъ“, которыя къ нимъ никогда и не приходили—то это ли основанія къ тому, чтобы заставлять Нитше молчать посредствомъ введенія въ новую поэтику правила объ обязательной доступности поэтическихъ произведеній всѣмъ людямъ? Очевидно, наоборотъ. Для этого большинства, остающагося до старости юнымъ, нужна особая поэзія, особая философія — и у него есть свои философы и свои поэты. Но его нуждами измѣрять цѣнность всѣхъ произведеній человѣческаго духа, какъ хочетъ сдѣлать гр. Толстой, и несправедливо, глубоко несправедливо по отношенію къ тѣмъ людямъ, которые болѣе всего нуждаются въ утѣшеніи философіи и поэзіи, и—затѣмъ—повторяю, безполезно: замолчать Нитше толстовская поэтика, конечно, не заставитъ.

Нитше это, конечно, знаетъ: „ибо люди не равны: такъ говоритъ справедливость. И чего хочу я, того не должны хотѣть они“. Правда, изъ этого впослѣдствіи выросла проповѣдь Нитше, его Uebermensch, аристократическое ученіе и все прочее въ этомъ родѣ, такъ же мало связанное съ дѣйствительными нуждами его души, какъ и толстовское „добро“ съ переживаніями философа Ясной Поляны. Оба они—и гр. Толстой, и Нитше, какъ проповѣдники, предлагаютъ намъ ученіе, которое только закрываетъ отъ насъ ихъ міросозерцаніе. Тотъ, кто вздумалъ бы служить „добру“ по программѣ гр. Толстого, былъ бы такъ же чуждъ своему учителю, какъ мало

былъ бы похожъ на Нитше человѣкъ, приносящій себя въ жертву Uebermensch'у—хотя этимъ онъ осуществилъ бы выраженное Заратустрой требованіе.

Мы уже видѣли, какъ далекъ гр. Толстой отъ лянпинцевъ, оскорбляемыхъ хористовъ и эксплуатируемаго народа, именемъ котораго онъ требуетъ отъ насъ покорности своему добру. Мы увидимъ дальше, насколько чуждъ Нитше его идеалъ сверхчеловѣка, который у него играетъ роль толстовскаго добра, ибо онъ имъ такъ же импонируетъ и его именемъ такъ же давитъ и уничтожаетъ людей, какъ и гр. Толстой своимъ „добромъ". У Нитше встрѣчаются буквально такія слова: „эта природа, которая дала быку рога, льву *χασμ' ὀδοντων*, зачѣмъ мнѣ дала природа ноги? Чтобъ давить, клянусь св. Анакреономъ, а не затѣмъ, чтобъ бѣжать" [1])... Проповѣдникъ безъ этого обойтись не можетъ, даже если онъ имморалистъ, стоящій по ту сторону добра и зла. Но это все — видимость, внѣшность, — для другихъ. Тѣмъ большій интересъ, однако, представляютъ для насъ дѣйствительныя переживанія Нитше, его истинныя „почему", которыя, несмотря на всю его осторожность, вполнѣ ясно сквозятъ въ его сочиненіяхъ.

„Люди не равны—и того, что я желаю, не должны желать они". Это внѣ всякаго сомнѣнія. Болѣе того—эти „они" не смѣютъ желать себѣ того, что пережилъ Нитше. Можетъ быть—кто отвѣтитъ на этотъ вопросъ?—самъ Нитше, несмотря на то, что онъ вполнѣ сознавалъ связь своей философіи со своимъ несчастіемъ, отказался бы отъ всего „познаванія", лишь бы не видѣть тѣхъ сновъ и загадокъ, которые и для насъ, лишь съ его словъ знающихъ о нихъ, кажутся столь ужасными. Нитше былъ тысячу разъ правъ, когда утверждалъ, что часто тѣ книги, которыя ободряющимъ и укрѣпляющимъ образомъ дѣйствуютъ на однихъ людей, опасны и вредны для другихъ [2]). Его собственныя сочиненія являются лучшимъ

---

[1]) T. VII, стр. 478.
[2]) Ib., стр. 50.

тому доказательствомъ — въ особенности такъ распространенные предразсудки объ его ученіи. Воображаютъ, будто бы онъ училъ, что „наслажденіе“—высшая цѣль нашей жизни, и что на этомъ основаніи онъ отрицалъ добро. Мнѣніе, что О. Уальдъ оправдывается и чуть ли не возводится въ идеалъ философіей Нитше, вы услышите повсюду. Болѣе того, разнаго рода люди, которыхъ соблазняютъ уальдовскія забавы, теперь считаютъ возможнымъ предаваться своимъ занятіямъ съ убѣжденіемъ, что они—предтечи Uebermensch'a и, слѣдовательно, лучшіе работники на полѣ человѣческаго прогресса. Нитше предчувствовалъ возможность такого искаженія его ученія и говорилъ: „мнѣ нужно обвести оградой свои слова и свое ученіе, чтобы въ нихъ не ворвались свиньи“ [1]). Но „свиньи“ проникаютъ повсюду, ибо имъ и черезъ ограду перебираться не нужно. Онѣ прослышали, что кто-то, очень знаменитый, почему-то возсталъ противъ нравственности, и вообразили себѣ, что это онъ поднялся на защиту ихъ дѣла. Правда—для нихъ, въ сущности, ссылки на Нитше и его теоріи самая послѣдняя забота: съ нимъ ли, безъ него ли. все равно—они жили бы по своему. Но, тѣмъ не менѣе, очевидно, что для огромнаго большинства людей книги Нитше не нужны, даже вредны, такъ что приходится только жалѣть, что журналы и газеты такъ хлопочутъ ознакомить большую публику, „въ общихъ чертахъ“, т.-е. въ доступномъ, иначе говоря въ совершенно искаженномъ, видѣ, съ физіономіей новаго философа. Все почти, о чемъ писалъ Нитше, слишкомъ далеко отъ обычныхъ предметовъ человѣческихъ размышленій и отъ переживаній большинства людей, и поверхностное знакомство съ его сочиненіями ничего, кромѣ ложныхъ и неправильныхъ сужденій о немъ, дать не можетъ. Въ особенности та часть ученія его, которая касается Бога и добра. Для большинства людей она представляется обычнымъ фрондированіемъ противъ посѣщенія церкви и исполненія нѣкоторыхъ тягостныхъ

---

[1]) A. S. Z. Von den drei Bösen.

обязанностей долга. Повидимому, уже одна страстность тона Нитше должна была исключить возможность такого толкованія его теоріи. Ибо современность давно уже, до Нитше, научила даже такого слабаго мыслителя, какъ толстовскій Стива, не очень-то блюсти религіозные обряды и правила нравственности. „Vous professez d'être un libre penseur"—сказалъ ему не даромъ Каренинъ. И, быть можетъ, лучшимъ доказательствомъ того, какъ напрасно винитъ гр. Толстой Нитше за грѣхи нашего общества, служитъ всѣми раздѣляемое мнѣніе, что Нитше тоже только libre penseur, отвоевывающій себѣ „свободу наслажденій". Обыкновенные libres penseurs не выдержали бы и дня Нитшевскихъ испытаній, того, что онъ называлъ своимъ „счастьемъ". Въ его положеніи они какого хотите идола приняли бы за Бога, самое нелѣпое правило приняли бы какъ долгъ, лишь бы хоть чѣмъ-нибудь оправдать свое существованіе. И, конечно, менѣе всего бы нападали на добро, которое, какъ извѣстно, такъ часто наполняетъ жизнь неудачниковъ судьбы. И, навѣрное, не отвергли бы состраданія, столь необходимаго страждущимъ людямъ.

У Нитше же получилось совершенно иное. Слишкомъ проницательный и честный по натурѣ своей, чтобъ обманывать себя и другихъ,—онъ, въ концѣ концовъ, принужденъ былъ остаться лицомъ къ лицу со всѣми ужасами своего существованія. Ни наука, ни религія, ни добро—ничего ему не могли дать. И, скажемъ опять то же, что мы говорили о гр. Толстомъ: Нитше возсталъ противъ добра не потому, что онъ былъ суровый, черствый, холодный, недоступный жалости человѣкъ. Это—неправда. Онъ не уступилъ бы въ гуманности Тургеневу, Диккенсу или Виктору Гюго. Его сердце знало состраданіе—и какъ знало! Онъ говоритъ: „кто можетъ достигнуть чего-нибудь великаго, если онъ не чувствуетъ въ себѣ силу и готовность причинять великія страданія? Умѣть терпѣть—самое послѣднее дѣло; въ этомъ слабыя женщины и даже рабы часто достигаютъ виртоузности. Но не погибнуть отъ тоски и сомнѣній, когда прихо-

дится причинять другимъ великое страданіе и слышать вопль его—это велико, въ этомъ проявляется величіе“ [1]). Какъ видитъ читатель, Нитше, обратно существующему мнѣнію, въ своемъ ученіи повиновался не непосредственному чувству мстительности, злобы или мелкаго эгоизма. Всѣ эти стимулы были ему въ такой же мѣрѣ чужды, какъ и гр. Толстому. И онъ преслѣдовалъ великодушныя задачи спасенія и обновленія человѣка посредствомъ слова убѣжденія. Если же онъ ушелъ отъ этого, если онъ отказался учить людей любви и состраданію, то лишь потому, что понялъ своимъ тяжелымъ опытомъ, что любовь и состраданіе ничего принести не могутъ и что задача философа въ иномъ: не пропагандировать любовь къ ближнему и состраданіе, а справиться съ этими чувствами, отвѣтить на вопросы, которые они задаютъ. „Горе тѣмъ любящимъ, у которыхъ нѣтъ ничего выше состраданія“ [2]), восклицаетъ Заратустра—и въ этомъ разгадка того, что называютъ „жестокостью“ Нитше. Нитше обращается къ людямъ, подобнымъ самому себѣ, для которыхъ состраданіе—уже не добродѣтель, не идеалъ, которые, говоря его словами, уже „перешли за этотъ идеалъ, потому что достигли его“. Онъ обращается къ людямъ, которые уже не могутъ удовлетвориться тѣмъ, что они добродѣтельны, ибо умѣютъ сострадать ближнему. Наоборотъ, такіе люди, еще настолько наивные въ вопросахъ добра и зла, противны ему: „поистинѣ я не выношу этихъ сострадательныхъ людей, блаженныхъ въ своемъ состраданіи: слишкомъ не достаетъ имъ стыда; если я долженъ жалѣть людей — то я не хочу называться сострадательнымъ; если я долженъ жалѣть ихъ— то издалека“ [3]). „Я даже не говорю“, поясняетъ онъ, что „добродѣтель—награда самой себѣ“. Наоборотъ, онъ „задыхается отъ состраданія“, и для него блажен-

---

[1]) T. V. стр. 246.
[2]) A. S. Z. Von den Mitleidigen.
[3]) Ib. Von den Mitleidigen.

ства отъ сознанія этой своей добродѣтели быть не можетъ. „Состраданіе называется добродѣтелью у всѣхъ маленькихъ людей: они не умѣютъ уважать великое несчастье, великое безобразіе, великую неудачу“ [1]). Нитше слишкомъ хорошо зналъ, какъ мало можно сдѣлать въ этихъ случаяхъ тѣми средствами, которыми обыкновенно располагаетъ состраданіе, даже не ограничивающееся платоническими вздохами и красивыми фразами надъ несчастіемъ ближняго. Поэтому онъ говоритъ: „ты первый предостерегалъ противъ состраданія—не ко всѣмъ и не къ каждому, а къ тебѣ, и тебѣ подобнымъ“ [2]). Нужны ли послѣ этого еще новыя цитаты, чтобъ оградить философію Нитше отъ обычныхъ пріемовъ ея истолкованія? Очевидно, онъ искалъ того же, чего искалъ гр. Толстой. Ему нужно было найти нѣчто, что выше состраданія, и, если гр. Толстой во имя этого „нѣчто“ принуждалъ себя, къ ужасу всѣхъ „нравственныхъ“ людей, спокойно глядѣть на несчастье Анны Карениной, на агонію Ивана Ильича и т. д., и все время внимательнымъ, испытующимъ взглядомъ искать въ ихъ мукахъ того, что разрѣшило бы подсказываемые чувствомъ состраданія вопросы, то и Нитше въ своей философіи добивался того же. И его Заратустра ищетъ прежде всего понять міръ, найти осмысленность земныхъ ужасовъ—„великаго несчастья, великаго безобразія, великой неудачи“. „Будьте тверды“, говоритъ онъ своимъ ученикамъ, чтобъ умѣть вынести страшный видъ жизни, уничтожающій всякаго сострадательнаго человѣка. Любовь,—даже та беззавѣтная и глубокая любовь, на которую способны женщины, когда дѣло идетъ о судьбѣ близкаго ихъ сердцу человѣка, безсильна предъ „великимъ несчастіемъ“. Нитше зналъ это: „какое мученіе эти великіе художники, вообще великіе люди для того, кто однажды разгадалъ ихъ! Это такъ понятно, что они встрѣчаютъ именно у женщинъ—женщины яснови-

---

[1]) Ib. Der hässlichste Mensch.
[2]) Ib. Der. hässlichste Mensch.

дящи въ мірѣ страданій и, къ сожалѣнію, сверхъ силъ своихъ любятъ спасать и помогать, — тѣ порывы безпредѣльнаго и преданнаго сочувствія, котораго толпа, особенно поклоняющаяся толпа, не понимаетъ и подвергаетъ любопытствующему и самодовольному истолкованію. Это состраданіе обыкновенно ошибается въ своихъ силахъ: женщинѣ хочется думать, что любовь все можетъ—это ея специфическій предразсудокъ. Увы! Знатокъ человѣческаго сердца угадываетъ, какъ бѣдна, безпомощна, притязательна, неумѣстна даже лучшая, самая глубокая любовь: она скорѣе добиваетъ, чѣмъ спасаетъ“ [1]). Это проливаетъ свѣтъ на „имморализмъ“ Нитше. Если любовь, самая лучшая, самая глубокая— не спасаетъ а добиваетъ; если состраданіе безпомощно, безсильно—то, что дѣлать человѣку, который не можетъ ни любить ни сострадать? Гдѣ найти то, что в ы ш е состраданія, выше любви къ ближнему. Гр. Толстой на это отвѣчаетъ, что такое „выше“ никому, будто бы, въ томъ числѣ и ему самому, не нужно. Кто хочетъ, можетъ, разумѣется, вѣрить, что гр. Толстой говоритъ такъ не для учениковъ своихъ, а для себя, что онъ не зналъ сомнѣній Нитше, что формула „добро — братская любовь—Богъ“ удовлетворила его вполнѣ. Но Нитше, очевидно, этого думать не могъ, ибо это значило бы отнять у Бога его святые атрибуты—всемогущества, всевѣдѣнія и т. д. и возвести въ божество бѣдное и слабое человѣческое чувство, умѣющее тамъ помогать, гдѣ и безъ его помощи можно обойтись, и пасующее въ тѣхъ случаяхъ, когда помощь особенно настоятельно нужна. Нитше въ своемъ несчастіи принужденъ былъ отвергнуть участіе и заботы людей и уйти въ уединеніе, чтобы тамъ ожидать своего Заратустру, который объяснилъ ему, что въ мірѣ есть, должно быть нѣчто, высшее, чѣмъ состраданіе, и что „добро“ хорошо и нужно для „всѣхъ“, но для нѣкоторыхъ ненужно, что состраданіе утѣшаетъ „многихъ“, но „немногихъ“ только оскорбляетъ, осо-

---

[1]) N. W. T. VII. 257 стр.

бенно въ тѣхъ случаяхъ, когда оно является какъ дань нравственности и какъ отысканіе „блаженства“. — Очевидно, что онъ уже вправѣ былъ считать себя стоящимъ „по ту сторону добра и зла“, независимо отъ того, насколько вообще представленія о добрѣ и злѣ нужны и полезны людямъ для цѣлей общежитія. Утилитарныя соображенія его не занимали, да и, вообще говоря, они въ вопросахъ нравственности не могутъ не занимать подчиненное положеніе, пока она претендуетъ на высшее, исключительное значеніе среди поставляемыхъ себѣ человѣкомъ цѣлей. Полезно или вредно нравственное правило, сохраняетъ ли оно прочность общественнаго организма или разрушаетъ его—все это въ нравственную философію Нитше почти не входитъ и не должно входить. Онъ, какъ и гр. Толстой, подошелъ къ нравственности въ надеждѣ, что она—всемогуща, что она замѣнитъ ему Бога, что отъ такой замѣны человѣчество только выиграетъ—развѣ могъ онъ удовольствоваться тѣмъ, что нравственность приноситъ нѣкоторую пользу, обезпечивая обществу, безъ затратъ, сопряженныхъ съ устройствомъ суда и полиціи, порядокъ и безопасность, что нравственность—полиція и судъ; ловкимъ образомъ внѣдренныя въ человѣческія души, что нравственность принуждаетъ насъ даже тамъ, гдѣ юридическія нормы не смѣютъ возвысить свой голосъ? До этого Нитше такъ же мало было дѣла, какъ и до всѣхъ общественныхъ учрежденій, существующихъ въ мірѣ. Онъ искалъ въ нравственности божественныхъ слѣдовъ и не нашелъ. Она тамъ оказалась безсильной, гдѣ всѣ люди вправѣ были ожидать отъ нея наибольшаго проявленія силы.

XIV

И вотъ тогда-то пришла къ Нитше та безумная на первый взглядъ мысль, которую когда-то съ такимъ ужасомъ отвергъ въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи Гейне, что Богъ не за добро и за добрыхъ, а за зло, и за злыхъ, что жизнь, сила жизни не въ тѣхъ идеалахъ, ко-

торые онъ всосалъ съ молокомъ матери и изъ-за которыхъ онъ погубилъ себя,—а въ противуположныхъ, что „правда“ не у него, не за него, какъ онъ думалъ прежде, а въ лагерѣ его враговъ, которыхъ онъ, какъ теперь гр. Толстой, уничтожалъ когда-то словами „безнравственный“, „порочный“, „дурной“. Какъ описать трагическое положеніе человѣка, дошедшаго до того ужаснаго сознанія, что дѣло, которому онъ отдалъ всю свою жизнь, не есть дѣло правды, дѣло—Бога, дѣло „добра“ въ толстовскомъ смыслѣ, а есть дѣло зла, разрушенія, неправды и, что его послѣднее утѣшеніе—вѣра въ свою нравственную правоту—отнято! Гр. Толстой и толстовцы не заговорятъ, конечно, теперь о злой волѣ. Имъ очевидно будетъ, что не человѣкъ выбираетъ себѣ идеи, а идея овладѣваетъ человѣкомъ фатально, противъ его воли съ неопреодолимой, чисто стихійной силой. Такъ было до сихъ поръ, такъ будетъ всегда у людей, собственнымъ опытомъ вырабатывающихъ свое міросозерцаніе. Они говорятъ то, чего не говорить не могутъ. „Кто борется съ чудовищами, тому слѣдуетъ беречься, чтобъ и самому не обратиться въ чудовище. И, если ты долго вглядываешься въ пропасть, то пропасть также вглядывается и въ тебя“ [1]), говоритъ Нитше. Можно ли отъ такого писателя ожидать всѣмъ доступныхъ, привычно-утѣшительныхъ словъ, которыхъ требуетъ поэтика гр. Толстого? Или „идеаловъ“, какъ выражается пр. Риль? Нитше ищетъ другого, ибо знаетъ, что „слова“ и „идеалы“ не защищаютъ человѣка отъ дѣйствительности. Онъ говоритъ: „Amor fati: пусть это будетъ отнынѣ моей любовью. Я не хочу воевать съ безобразіемъ. Я не хочу обвинять, не хочу даже обвинять обвинителей. Не видѣть — въ этомъ пусть будетъ все мое отрицаніе“ [2]). Въ дневникѣ 1888 года эта мысль выражена еще рѣзче. „Моя формула человѣческаго величія — заключается въ словахъ amor fati: не желать измѣнять ни одного факта въ про-

---

[1]) T. VII, стр. 105.
[2]) T. V, 209.

шедшемъ, въ будущемъ, вѣчно; не только выносить необходимость—еще менѣе скрывать ее: всякій идеализмъ есть ложь передъ лицомъ необходимости — но любить ее". Эти слова объяснятъ читателю отношеніе Нитше къ злу. Онъ не хочетъ, не можетъ жаловаться на дѣйствительность, — „развѣ всякая жалоба не есть обвиненіе?" говоритъ Заратустра. Отсюда вытекаетъ то „преклоненіе" его предъ зломъ, которымъ такъ пугаютъ публику, но которое въ сущности въ гораздо большей мѣрѣ раздѣляется всѣми людьми, чѣмъ это обыкновенно думаютъ.

Нитше далъ только полное выраженіе тѣмъ настроеніямъ, въ силу которыхъ гр. Толстой отвернулся отъ лапинцевъ, чтобъ не „воевать съ безобразіемъ", которое онъ не могъ уничтожить. Но Нитше нужно было большее — онъ хотѣлъ, долженъ былъ любить всю эту отвратительную дѣйствительность, ибо она была въ немъ самомъ, и спрятаться отъ нея не было куда. Amor fati— не выдуманъ имъ, какъ и вся его философія, къ которой онъ былъ приведенъ желѣзной силой этого fatum'a. И потому тотъ, кто вздумалъ бы опровергать Нитше, прежде долженъ былъ бы опровергнуть жизнь, изъ которой онъ почерпалъ свою философію.

Нитше говоритъ: „ты не долженъ убивать! Ты не долженъ грабить!... такія слова назывались когда-то святыми; предъ ними преклоняли колѣна и головы, къ нимъ подходили разувшись... Но развѣ въ самой жизни нѣтъ грабежа и убійства? И считать эти слова святыми развѣ не значитъ убить истину?" [1]) Это тотъ же amor fati. Въ жизни есть зло — стало быть нельзя его отрицать, проклинать; отрицаніе и проклятія безсильны. Самое страстное негодующее слово не можетъ и мухи убить. Нужно выбирать между ролью „нравственнаго" обличителя, имѣющаго противъ себя весь міръ, всю жизнь, и любовью къ судьбѣ, къ необходимости, т.-е. къ жизни, какой она является на самомъ дѣлѣ, какой она была отъ вѣка, какой она будетъ всегда. И Нитше не можетъ ко-

---

[1]) A. S. Z. Von alten und neuen Tafeln.

лебаться. Онъ оставляетъ безсильныя мечтанія, чтобы перейти на сторону своего прежняго врага—жизни, права которой онъ чувствуетъ законными. Немощная добродѣтель, добродѣтель гордящаяся своими лохмотьями, становится ему противна, ибо онъ слишкомъ хорошо видитъ, съ какой завистливой жадностью глядитъ она на силу, которую побѣдить она не можетъ — и потому постоянно бранитъ. „Намъ смѣшны претензіи человѣка, говоритъ онъ, отыскать цѣнности, которыя превосходили бы цѣнность реальнаго міра“ [1]). Самое противоставленіе человѣка міру кажется ему безсмысленнымъ. Эти два слова „человѣкъ и міръ“, „отдѣленныя безмѣрной дерзостью маленькаго словечка и“, представляются ему стоящими внѣ сравненія. Міръ — самъ по себѣ, человѣкъ — самъ по себѣ, какъ случайно выброшенная на поверхность океана щепка. Мечтать о томъ, что океанъ или кто-нибудь еще болѣе могучій, чѣмъ океанъ, станетъ думать о судьбѣ этой щепки—нелѣпо. Нѣтъ такой высшей силы, нѣтъ связи между движеніемъ водъ океана и нуждами этой щепки. И, если сама природа такъ мало заботится о томъ, чтобъ охранить отъ гибели и крушенія свои творенія, если смерть, разрушеніе, уничтоженіе оказываются безразличными явленіями въ массѣ другихъ безразличныхъ явленій, если,—болѣе того—сама природа пользуется для своихъ цѣлей убійствомъ и разрушеніемъ, то что даетъ намъ право возводить въ законъ „добро“, т.-е. отрицаніе насилія? Громъ убиваетъ человѣка, болѣзни измучиваютъ его, другія животныя отнимаютъ у него пищу—все это естественно, все это — въ порядкѣ вещей, все это — законъ природы. И какъ неумолима, какъ безпощадна эта природа, Нитше, къ сожалѣнію, слишкомъ хорошо зналъ изъ своего опыта. Въ то время, когда онъ, обезсиленный, опозоренный, разбитый, съ безумнымъ ужасомъ глядѣлъ въ свое неизвѣстное будущее, ни одинъ добрый геній, ни одинъ голосъ во всей вселенной не отозвался на его несчастье. И вдругъ мы рѣ-

---

[1]) V. 279.

шаемся называть такъ систематически практикуемую природой жестокость противуестественной, незаконной, коль скоро она получаетъ свое проявленіе въ дѣйствіяхъ человѣка. Грому—можно убивать, а человѣку — нельзя. Засухѣ можно обрекать на голодъ огромный край, а человѣка мы называемъ безбожнымъ, если онъ не подастъ хлѣба голодному! Должно ли быть такое противорѣчіе? Не является ли оно доказательствомъ, что мы, поклоняясь противному природѣ закону, идемъ по ложному пути, и что въ этомъ—тайна безсилія „добра“, что добродѣтелямъ такъ и полагается ходить въ лохмотьяхъ, ибо онѣ служатъ жалкому и безполезному дѣлу?

Для того, чтобы понять значеніе этихъ идей для Нитше, нужно, прежде всего, не забывать, какую роль онѣ играли въ его собственной судьбѣ. Хотя онъ и клянется св. Анакреономъ, что ноги ему даны судьбой затѣмъ, чтобъ топтать, но онъ былъ не топчущимъ, а растоптаннымъ, не попирающимъ, а попраннымъ. Отъ „зла“ онъ не могъ ожидать себѣ никакой награды и, проповѣдуя грѣхъ, онъ остался тѣмъ же „безкорыстнымъ“ теоретикомъ-идеалистомъ, какимъ былъ въ молодые годы, когда онъ преклонялся предъ добродѣтелью. Только впослѣдствіи, подъ конецъ своей литературной дѣятельности, ему удалось сдѣлать изъ своихъ взглядовъ „аристократическое“ ученіе и говорить съ такимъ видомъ, который внушилъ пр. Лихтенбергу зависть къ его судьбѣ. Но, до конца, ученіе Нитше, сильнѣе всего поражало его самого. Не даромъ онъ говоритъ о неумѣстности въ извѣстныхъ случаяхъ психологической проницательности, о богѣ—жертвенномъ животномъ и т. п. Чѣмъ больше страстности, кощунства, безбожія въ его нападкахъ на „добро“, тѣмъ яснѣе для насъ тѣ внутреннія основанія, которыя заставили его порвать со своимъ идеализмомъ. Настроенія Нитше, на старости лѣтъ, были знакомы и Тургеневу. Кто не помнитъ его стихотворенія въ прозѣ „насѣкомое“? Идеалистъ всю жизнь свою боится открыть глаза на кружащееся надъ нимъ чудовище—и оно убиваетъ его. Тургенева нитшевскія переживанія посѣтили

только подъ старость. Главная его литературная дѣятельность была лишь выраженіемъ идеализма, который долгіе годы успѣшно охранялъ его отъ ужаса и отвращенія предъ „насѣкомымъ“. У Нитше же всѣ произведенія, кромѣ тѣхъ, которыя помѣщены въ первомъ томѣ, посвящены этой мрачной загадкѣ жизни. Идеализмъ или дѣйствительность? Это Нитше называетъ „заглянуть въ глубь пессимизма“. Очевидно, онъ долженъ былъ отказаться отъ идеализма и оправдать насѣкомое, т.-е. дѣйствительную жизнь, съ ея ужасами, несчастіемъ, преступленіями, пороками. Онъ принужденъ былъ пожертвовать рѣдкими островками „добра“, которые выплываютъ на поверхности безбрежнаго моря зла: иначе предъ нимъ раскрывались перспективы пессимизма, отрицанія, нигилизма. Законъ для человѣка долженъ исходить отъ природы и не можетъ противорѣчить общимъ міровымъ законамъ. „Зло“, то, что люди называютъ „зломъ“ и что до сихъ поръ представлялось намъ самой страшной и мучительной загадкой, въ виду его нелѣпаго и безсмысленнаго противорѣчія съ наиболѣе дорогими нашему сердцу упованіями, перестаетъ быть для Нитше „зломъ“. Болѣе того, онъ въ „злѣ“ находитъ добро, въ „злыхъ людяхъ“—великую творческую силу. „Все то, что добрые зовутъ зломъ, должно собраться вмѣстѣ для того, чтобы родилась истина: о братья мои, достаточно ли вы злы для такой истины? Отчаянное дерзновеніе, долгое недовѣріе, жестокое „нѣтъ“, пресыщеніе, — какъ рѣдко все это бываетъ вмѣстѣ! Но изъ такихъ сѣмянъ выростаетъ истина. Рядомъ со злой совѣстью всегда росло знаніе“ [1]).

Такихъ рѣчей вы найдете у Нитше множество. Его собственной натурѣ слишкомъ чуждъ былъ элементъ зла, и онъ почувствовалъ, какъ ужасенъ этотъ недостатокъ, какъ мало онъ искупается добродѣтельнымъ послушаніемъ категорическому императиву. На первый взглядъ это—ужасное открытіе. На самомъ же дѣлѣ оно оправдываетъ сказанныя Заратустрой своимъ ученикамъ

---

[1]) A. S. Z Von alten und neuen Tafeln.

глубоко знаменательныя слова, которыя мы уже приводили разъ: „вы еще не искали меня — и нашли меня; такъ дѣлаютъ всѣ вѣрующіе: оттого всякая вѣра такъ мало значитъ. Теперь я велю вамъ потерять меня и найти себя. Когда вы отречетесь отъ меня — я вернусь къ вамъ“. Нитше, отрекшійся отъ наиболѣе дорогихъ намъ идеаловъ, теперь только обрѣлъ ихъ. Для того, кто не побоялся пройти вслѣдъ за нимъ сквозь весь его скептицизмъ отчаянія и сомнѣнія, проливается свѣтъ на самыя загадочныя слова евангельской благовѣсти: солнце одинаково всходитъ надъ грѣшниками и праведниками. Кого не смущали эти слова своей таинственной противоположностью со всѣми чаяніями нашей, человѣческой души? По нашему разумѣнію—такъ не должно быть. По-нашему, солнце не должно свѣтить грѣшникамъ, злымъ. Имъ—т ь м а, свѣтъ же принадлежитъ праведникамъ. Если многіе изъ насъ и соглашались еще принимать буквальное толкованіе этихъ словъ, если многіе изъ насъ и готовы были не отнимать матеріальныя блага у „злыхъ“, то всѣ безъ исключенія признавали необходимымъ предавать злыхъ нравственному осужденію, которое, въ сущности, для людей, обязанныхъ держаться христіанской морали, есть самое большое наказаніе, самое ужасное несчастіе, какое только можетъ ожидать человѣка въ жизни. Можно быть неудачникомъ, больнымъ, уродомъ и т. п., все это, конечно, несчастія и большія. Но оказаться „безнравственнымъ“ это самое ужасное, что можетъ приключиться съ человѣкомъ. И, тѣмъ не менѣе, всѣ считаютъ возможнымъ и необходимымъ относить къ категоріи безнравственныхъ людей огромное количество своихъ близкихъ и не только не смущаются этимъ, но еще ставятъ себѣ въ заслугу свою способность негодовать. Гр. Толстой не можетъ и шагу ступить, чтобы не назвать безнравственными огромное количество своихъ ближнихъ. Читатель помнитъ разговоръ Заратустры съ папой. Приведемъ еще слова Заратустры, изъ которыхъ видно будетъ, до какой поразительной нравственной высоты — и м е н н о в ъ е в а н г е л ь с к о м ъ

смыслѣ — доходитъ отрекшійся Нитше, и какъ мало можно довѣрять обычнымъ легендамъ, связаннымъ съ именемъ этого писателя. „Найдите же мнѣ любовь, которая не только всѣ наказанія, но и вину несетъ на себѣ; найдите мнѣ справедливость, оправдывающую всѣхъ, кромѣ судей“ [1]). Традиціонная, приспособившаяся къ среднему человѣку нравственность оскорбляла Нитше своимъ высокомѣрнымъ отношеніемъ къ людямъ, своей готовностью клеймить всѣхъ, кто хоть притворно не отдаетъ ей дани уваженія. Ей приходилось чуть ли не весь міръ, всѣхъ людей объявлять дурными, и она соглашалась на это, лишь бы не поступиться своими правами на первенство. Нитше ищетъ такой справедливости, которая бы не наказаніе, т.-е. не матеріальныя невзгоды, несла на себѣ, а вину. Что, собственно, кроется подъ этими словами, если не коментарій къ евангельской притчѣ о фарисеѣ и мытарѣ? Ибо всякій нравственно осуждающій, всякій слагающій вину на ближняго обязательно говоритъ про себя: „благодарю тебя, Господи, что я не таковъ, какъ этотъ мытарь“. А вотъ еще слова Заратустры по этому поводу: „наслажденіе и невинность—стыдливѣйшія вещи. Онѣ не хотятъ, чтобъ ихъ искали. Ихъ должно имѣть,—но искать должно скорѣе вины и страданія“ [2]). Это ли рѣчи Антихриста? Иммораліста? Для того, кто внимательно изучалъ Нитше, не можетъ быть сомнѣнія, что его нападки направлены не на христіанство, не на Евангеліе, а на такъ распространенныя повсюду общія мѣста о христіанскомъ ученіи, которыя отъ всѣхъ — и отъ самого Нитше—застилаютъ смыслъ и свѣтъ правды. „Добро есть Богъ“, говоритъ гр. Толстой ученикамъ своимъ—лишь то, что всѣ говорятъ, что говоритъ эта самая культурная толпа (у Нитше „ученая чернь“—и въ выраженіяхъ обоимъ писателямъ случается сходиться!), на которую онъ нападаетъ. При этомъ вся жизнь обращается въ „зло“, и гр. Толстому

---

[1]) A. S. Z. Vom Biss der Natter.
[2]) A. S. Z. Von alten und neuen Tafeln.

нѣтъ до этого дѣла. Онъ и не спрашиваетъ себя (вѣрнѣе, не хочетъ, чтобъ ученики спрашивали), какъ же Богъ не царитъ на землѣ, какъ же милліоны людей живутъ внѣ Бога? Его утѣшаетъ, что онъ взошелъ на верхнюю ступень нравственнаго развитія!—У Нитше былъ другой опытъ, другая жизнь, и потому предъ нимъ вопросъ объ оцѣнкѣ добра возсталъ въ иной формѣ. Онъ понялъ, что зло нужно такъ же, какъ и добро, больше, чѣмъ добро. Что и то и другое является необходимымъ условіемъ человѣческаго существованія и развитія и что солнце можетъ равно всходить и надъ добрыми и надъ злыми.

Таковы смыслъ и значеніе Нитшевской формулы „по ту сторону добра и зла“. Сомнѣнія не можетъ быть: Нитше открылась великая истина, таившаяся подъ евангельскими словами, которыя мы хоть и признавали, но никогда не осмѣливались вносить въ свое „философское“ міровоззрѣніе. И на этотъ разъ, чтобъ родилась новая истина, потребовалась новая Голгоѳа. Иначе, повидимому, жизнь никогда не открываетъ своихъ тайнъ. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ Заратустра: „я стою предъ самой высокой горой, мнѣ предстоитъ самое продолжительное странствованіе — о т т о г о мнѣ нужно глубже спуститься, нежели я когда-нибудь спускался, глубже въ страданіе, въ его чернѣйшую бездну. Того хочетъ моя судьба. Ну, что-жъ? Я г о т о в ъ“. Такую школу прошелъ Нитше. И онъ оказался не только покорнымъ, но и благодарнымъ ученикомъ: „школа страданія, великаго страданія—говоритъ онъ—знаете ли вы, что только въ этой школѣ до сихъ поръ совершенствовался человѣкъ? То напряженіе души въ бѣдѣ, которое даетъ ей силы; ея ужасъ при мысли о неизбѣжной гибели; ея смѣлость и находчивость въ искусствѣ выносить, претерпѣвать, истолковывать, утилизировать несчастье—все, что когда-либо было ей дано глубокаго, таинственнаго, хитраго, великаго: развѣ все это она получила не отъ страданія, великаго страданія? Въ человѣкѣ соединены твореніе—и творецъ; въ человѣкѣ есть матерія, обломки, лишнее,

глина, грязь, безсмыслица, хаосъ; но въ человѣкѣ же есть также творецъ, художникъ, твердость молота, божественный созерцатель, счастье седьмого дня: понимаете ли вы эту противуположность? И понимаете ли вы, что ваше состраданіе направлено на „твореніе въ человѣкѣ“, на то, что должно быть сформировано, разбито, выковано, разорвано, выяснено, переплавлено, очищено, на то, чему по необходимости слѣдуетъ—должно страдать? А наше состраданіе—вы понимаете, къ чему относится наше обратное состраданіе, когда оно возстаетъ противъ вашего, какъ противъ худшаго изъ всѣхъ видовъ изнѣженности слабости?“ [1]). Какая сила, сколько страсти, паѳоса въ этихъ словахъ! Вѣдь это въ самомъ Нитше судьба такими способами формировала человѣка. Вѣдь это въ его душѣ разбивали, разрывали, выжигали, выковывали, переплавляли все, что было въ ней лишняго, безсмысленнаго, хаотическаго, для того, чтобы въ ней родился творецъ и художникъ, котораго ждетъ божественное созерцаніе въ седьмой день. Конечно, люди не повѣрятъ, не посмѣютъ повѣрить тому, что разсказываетъ Нитше. Люди хотятъ презирать зло, люди больше всего боятся страданія. Иначе они не могутъ жить. Но, повторяю, быть можетъ и Нитше не принялъ бы своей философіи прежде, чѣмъ выпилъ до дна горькую чашу, поднесенную ему судьбой. Его „имморализмъ“ — есть итогъ глубоко трагической, безмѣрно несчастной жизни. Для того, чтобы свѣтъ этой звѣзды достигъ до человѣка, нужно спуститься въ „темную бездну страданій“: изъ этой глубины она будетъ видна. При обыкновенномъ же дневномъ освѣщеніи отдаленныя свѣтила—даже самыя яркія—недоступны человѣческому глазу.

XV

На этомъ кончается у Нитше философія и начинается „проповѣдь“. Начинается огражденіе и возвеличеніе своей

---

[1]) Т. VII, стр. 180.

личности, раздѣленіе людей на высшихъ и низшихъ, достойныхъ и недостойныхъ—словомъ, то же, что было и до Нитше. Правда—слова иныя. О добрѣ не говорится. Его мѣсто занялъ Uebermensh. Но роль Uebermensch'a-не новая. Его именемъ Нитше говоритъ и дѣлаетъ то же, что Достоевскій и гр. Толстой говорили и дѣлали отъ имени добра. Нужно оправдать какъ-нибудь себя, нужно забыть прошлое, нужно спастись, избавиться отъ страшныхъ вопросовъ, на которые нѣтъ настоящихъ отвѣтовъ. И Нитше обращается къ старому, испытанному средству, которое уже столько разъ исцѣляло больныя и измученныя человѣческія сердца—къ проповѣди. Нитше говоритъ: „въ какую философію ни забрасывалъ я свои сѣти, всегда выносили онѣ мнѣ голову стараго идола". Эти слова въ извѣстной степени примѣнимы и къ нему самому. И его Uebermensch—лишь голова стараго идола, только иначе раскрашенная. Вслѣдъ за Достоевскимъ и гр. Толстымъ, такъ родственнымъ ему по своимъ натурамъ, и Нитше не могъ вынести страшнаго вида жизни, не могъ примириться со своей судьбой. Что такое его аристократизмъ? Въ переводѣ на простой, хотя бы толстовскій языкъ, имѣющій такое большое преимущество ясности—это значитъ: „я и еще немногіе—очень великіе люди; остальные—ничтожныя пѣшки. Быть великимъ—самое главное, самое лучшее, что бываетъ въ жизни. И это лучшее—у меня есть, а у другихъ—нѣтъ. Главное—у другихъ нѣтъ". Почему такое сознаніе утѣшаетъ человѣка, почему ему легче, когда онъ думаетъ, что можетъ похвалиться предъ другими своими преимуществами—кто разгадаетъ эту тайну человѣческой психики? Но фактъ остается фактомъ. Изъ-за этого Достоевскій душилъ своего Раскольникова, изъ-за этого гр. Толстой былъ такъ безпощаденъ ко всей интеллигенціи. Такъ мучительна, такъ глубока у людей потребность найти себѣ точку опоры, что они всѣмъ жертвуютъ, все забываютъ, лишь бы спастись отъ сомнѣній. А въ проповѣди, въ возможности негодовать и возмущаться—лучшій исходъ, какой только можно придумать для бу-

шующей въ душѣ бури. Гр. Толстой даже марксистовъ назвалъ „безнравственными“. Марксистовъ, которые изъ-за идеи, изъ-за того, что они считаютъ „добромъ“, бросаютъ все и лучшіе годы проводятъ за чтеніемъ „капитала“, сведеніемъ статистическихъ таблицъ и другими подобными занятіями, не обѣщающими имъ, какъ извѣстно, ничего хорошаго! Можно опровергать ихъ, жалѣть—все, что хотите; но, очевидно, что только изъ-за „нравственности“ у нихъ весь сыръ боръ загорѣлся, хотя они и противуставляютъ себя „субъективистамъ“. Марксъ и статистика—только новая форма. А сущность—старая: положить душу за идею, отречься, принести себя въ жертву чему-нибудь, отказаться отъ своей воли, ради торжества „высшаго“ принципа. Какой еще нужно нравственности? Но гр. Толстой никому не хочетъ, не можетъ простить. Всѣ они „безнравственны“! Иначе, какъ забыть Ивана Ильича, распутныхъ дѣвокъ, ляпинцевъ, свое безсиліе? Если не на кого излиться, не на кого напасть, то, въ концѣ концовъ, останешься одинъ съ глазу на глазъ съ проклятыми вопросами, на которые „Богъ—добро“ ничего отвѣтить не можетъ. Вся соблазнительность такой формулы лишь въ томъ, что она даетъ возможность отдѣлить себя отъ всѣхъ, найти враговъ и бороться—хотя бы съ блѣдными юношами, читающими Маркса, хотя бы съ голодными Раскольниковыми, мечтающими объ убійствѣ. Uebermensch Нитше—имѣетъ то же значеніе. Гдѣ остановилась философія, вслѣдствіе ограниченности человѣческихъ силъ—тамъ начинается проповѣдь. Свое страданіе, свой позоръ, свое несчастье, все, что пришлось ему вынести въ жизни, Нитше, въ концѣ концовъ, истолковываетъ въ томъ смыслѣ, что это даетъ ему право давить и уничтожать кого-то. „Страданіе дѣлаетъ человѣка аристократомъ: оно отдѣляетъ его отъ другихъ“, говоритъ онъ съ той безсознательной откровенностью, которая такъ часто поражаетъ въ немъ на ряду съ систематическимъ стремленіемъ укрыться подъ какой-нибудь „маской“. И вѣдь самъ знаетъ онъ, какъ близки межъ

собой люди: „я видѣлъ, говоритъ Заратустра, нагими самаго великаго и самаго маленькаго человѣка. Слишкомъ незначительна между ними разница!“ И—тѣмъ не менѣе „аристократизмъ“ сохраняется! Этотъ „отдѣляющій отъ другихъ аристократизмъ“ внушаетъ „паѳосъ разстоянія“,—тотъ паѳосъ, который всегда служилъ единственнымъ источникомъ моральнаго негодованія. Я „высокъ“—всѣ низки: есть почва для протеста, для борьбы, есть куда дѣвать накопившееся чувство горечи и обиды. Если бы „аристократизмъ“, „нравственное совершенство“, (оба термина значатъ одно и то же, тожественны) были дѣтьми самоудовлетворенія, ясности и спокойствія духа, то та форма проповѣди, которую приняли Достоевскій, гр. Толстой и Нитше, была бы невозможна, ненужна. Только безсиліе противъ роковой загадки жизни порождаетъ ту скрытую, глубоко затаенную ненависть, которой запечатлѣны произведенія этихъ замѣчательныхъ писателей. Съ судьбой ничего не подѣлаешь! Она равнодушна ко всѣмъ нашимъ проклятіямъ. Ее не проймешь! Такъ направимъ наше негодованіе на человѣка: онъ услышитъ. Нужно только умѣть бить его и знать его больныя мѣста. Оттого проповѣдь, говоря языкомъ Нитше, „такъ мало значитъ“.

Я не хочу ставить это въ упрекъ Достоевскому, Нитше и гр. Толстому. Если попытки справиться съ „великимъ безобразіемъ, великой неудачей, великимъ несчастіемъ“ настолько измучили ихъ своей безуспѣшностью, что они принуждены были перестать допрашивать жизнь и искать забвенія въ проповѣди, то въ этомъ лишь доказательство высокой требовательности ихъ натуръ. Они уже не могли больше жить безъ отвѣта на свои вопросы—и всякій отвѣтъ былъ лучше, чѣмъ ничего. Это—„поверхность, родившаяся изъ глубины“, какъ говоритъ Нитше. Невозможно существовать, всегда, неизмѣнно глядя въ глаза страшнымъ призракамъ. Достоевскій и гр. Толстой этого не скажутъ. Но Нитше, въ концѣ концовъ, и въ этомъ, какъ и во всемъ, признается. Въ афоризмѣ—„чему намъ слѣдуетъ учиться у художни-

ковъ“, онъ, описывая пріемы, посредствомъ которыхъ художники „украшаютъ“ въ своихъ произведеніяхъ дѣйствительность- -на самомъ дѣлѣ далеко не прекрасную,— заключаетъ: „все это намъ нужно перенять у художниковъ, но быть умнѣе ихъ. Ибо у нихъ творческая способность кончается тамъ, гдѣ кончается область ихъ искусства и начинается жизнь; мы же хотимъ быть поэтами нашей жизни, въ самыхъ малыхъ и повседневныхъ проявленіяхъ ея“ [1]). Это постоянное и упорное сознаніе, что жизнь бѣдна прекраснымъ, эта мучительная способность видѣть вездѣ дурное, какъ бы оно ни скрывалось, и заставляетъ большинство людей искать такой точки зрѣнія, которая бы открывала предъ ними болѣе утѣшительныя перспективы. „Аристократизмъ“ и „добро“— лишь средства украсить жизнь. При этомъ, правда, приходится обратить всѣхъ людей въ „плебеевъ“ или „грѣшниковъ“, въ ничтожныя или безнравственныя, въ мелкія или преступныя существа. Но иного выхода нѣтъ. Мы помнимъ, что̀ сдѣлалъ гр. Толстой въ „Войнѣ и Мирѣ“, чтобы всѣхъ оправдать, чтобъ найти такую философію, которая „не только наказаніе, но и вину беретъ на себя“, которая, иначе говоря, никого не обвиняетъ и ищетъ объясненія жизни выше людей, надъ людьми. Но на этой высотѣ гр. Толстой не могъ долго удержаться. Уже „въ Аннѣ Карениной“ онъ измѣняетъ себѣ. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше онъ замыкается въ тотъ нравственный аристократизмъ, который онъ называетъ „добромъ“, но который только по формѣ отличается отъ Нитшевскаго Uebermensch'a. У гр. Толстого проповѣдь довлѣетъ самой себѣ. Не ради бѣдняковъ, голодныхъ и униженныхъ, призываетъ онъ къ добру. Наоборотъ, всѣ эти несчастные вспоминаются только ради добра. Это значитъ: „быть поэтомъ дѣйствительной жизни до самыхъ незначительныхъ и мелкихъ проявленій ея“.

Тамъ, гдѣ было безобразіе, ужасы, гадость, гдѣ была

---

[1]) Т. V. стр. 228.

умирающая съ голоду, два дня не ѣвшая проститутка, которую никто не беретъ—гр. Толстой воздвигаетъ знамя „добра“, которое есть „любовь къ ближнему“, Богъ. Тамъ, гдѣ шла рѣчь о скорѣйшей помощи и гдѣ эта помощь оказалась невозможной, т.-е. тамъ, гдѣ разыгралась ужаснѣйшая и возмутительнѣйшая жизненная трагедія,—у гр. Толстого возникла поэзія проповѣди. У Нитше было то же. Онъ зналъ, что онъ—„бѣдное жертвенное животное“ и украсилъ себя высокими добродѣтелями Uebermensch'a, онъ чувствовалъ, что „пропалъ“, что наступилъ „конецъ, совсѣмъ конецъ“—и говорилъ: „если есть Богъ, то какъ же вынесу я мысль, что этотъ Богъ—не я“. Такъ прятались отъ дѣйствительности гр. Толстой и Нитше. Но, можетъ ли ихъ проповѣдь закрыть навсегда отъ людей вопросы жизни? Можетъ ли „добро“ или Uebermensch примирить человѣка съ несчастіемъ, съ безсмыслицей нашего существованія? Очевидно, что поэзія проповѣди гр. Толстого и Нитше можетъ удовлетворить лишь того, кто, кромѣ поэзіи, ничего не вынесъ изъ ихъ сочиненій и собственнаго жизненнаго опыта. Для человѣка же, серіозно столкнувшагося съ жизнью, весь парадъ великолѣпныхъ и торжественныхъ словъ, которыми сопровождаютъ гр. Толстой и Нитше шествіе своихъ „боговъ“—значитъ не болѣе, чѣмъ другія торжества, которыми люди разнообразятъ свое существованіе. Его вниманіе не можетъ оторваться отъ князя Андрея, отъ Ивана Ильича, отъ пастуха, которому вползла въ ротъ змѣя, и онъ, пропуская мимо ушей красивыя разсужденія, тѣмъ напряженнѣе прислушивается къ дѣйствительнымъ переживаніямъ гр. Толстого и Нитше. Какъ ни безуспѣшны были до сихъ поръ попытки дать законченный и полный отвѣтъ на мучительный вопросъ жизни,—ихъ люди никогда не перестанутъ дѣлать. Можетъ быть, человѣку не дано найти то, чего онъ ищетъ. Но по пути къ вѣчной истинѣ онъ освобождается отъ многихъ тяготѣвшихъ надъ нимъ предразсудковъ и открываетъ новые—если не вѣчные, то во всякомъ случаѣ болѣе широкіе гори-

зонты. И въ этомъ смыслѣ формула Нитше „по ту сторону добра и зла“ является важнымъ, огромнымъ шагомъ впередъ. Нитше былъ первымъ изъ философовъ, который осмѣлился прямо и открыто протестовать противъ исключительной требовательности добра, желавшаго, чтобъ, вопреки всему безконечному разнообразію дѣйствительной жизни, люди признавали его „началомъ и концомъ всего“, какъ говоритъ гр. Толстой. Правда, Нитше видѣлъ одно дурное въ „добрѣ“ и просмотрѣлъ въ немъ все хорошее, отступивъ тѣмъ самымъ отъ своей формулы—amor fati. Онъ иначе не могъ чувствовать, какъ не можетъ раскаявшійся грѣшникъ видѣть въ грѣхѣ что-либо иное, кромѣ ужаснаго. Въ этомъ вся сила и убѣдительность философіи Нитше. Еслибъ онъ остался справедливымъ, мы не поняли бы, о чемъ онъ говоритъ. Намъ нужно было быть свидѣтелями той вражды, той ненависти, того отвращенія, того ужаса предъ „добромъ“, который былъ у Нитше, чтобъ понять самую возможность его ученія, чтобъ признать законными извѣстныя настроенія и разрѣшить имъ перейти въ сознаніе, какъ принципъ. Добро — братская любовь,—мы знаемъ теперь изъ опыта Нитше,—н е е с т ь Б о г ъ. „Горе тѣмъ любящимъ, у которыхъ нѣтъ ничего выше состраданія“. Нитше открылъ путь. Нужно искать того, что в ы ш е состраданія, в ы ш е добра. Нужно искать Бога.

К О Н Е Ц Ъ

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

1. **Достоевскій и Нитше** (философія трагедіи). Спб. 1903 г. 1 р. 50 к.

2. **Шекспиръ и его критикъ Брандесъ.** Спб. 1898 г. 1 р. 50 к.

3. **Апоѳеозъ безпочвенности** (опытъ адогматическаго мышленія). Спб. 1905 г. 1 р. 50 к.

19) **ПОССЕ, К. Курсъ дифференціальнаго и интегральнаго исчисленій.** 2-ое исправл. и дополн. изданіе. Въ двухъ частяхъ Ц. каждой части 2 р. 25 к.

20) **РЕНАНЪ, ЭРНЕСТЪ. Жизнь Іисуса.** Переводъ *Е. В. Святловскаго* безъ всякихъ сокращеній съ 19-го пересм. и дополн. изд. Съ портретомъ Ренана, исполненнымъ геліогравюрою. 1 р. 50 к. Отдѣльно портретъ Ренана 20 к., съ перес. 35 к.

21) **РЕНАНЪ, ЭРНЕСТЪ. Апостолы.** Переводъ *Е. В. Святловскаго* безъ всякихъ сокращеній съ одиннадцатаго изданія. 1 р. 50 к.

22) **РЕНАНЪ, ЭРНЕСТЪ. Антихристъ.** Переводъ *Е. В. Святловскаго* безъ всякихъ сокращеній со второго изданія. 1 р. 50 к.

23) **РОЗАНОВЪ, В. Легенда о Великомъ Инквизиторѣ.** 3-е изданіе. 1 р. 50 к.

24) „ **Около церковныхъ стѣнъ.** Въ двухъ томахъ. Ц. каждому тому 2 р.

25) „ **Ослабнувшій фетишъ.** Психологическія основы русской революціи. 20 к.

26) **РОЙТМАНЪ, ДМ. Значеніе математики, какъ науки и какъ общеобразовательнаго предмета.** Что должно составлять содержаніе элементовъ математики? (включая и высшую математику). 50 к.

27) **СЕРРЕ, (J.-A.). Дополненіе къ „Теоріи круговыхъ функцій".** 50 к.

28) **ТРАЧЕВСКІЙ, А. С. Учебникъ новой исторіи** (былъ истребленъ цензурою до выхода въ свѣтъ). 1 р. 75 к.

29) **ЧЕРНЫШЕВЪ, В. Школьникъ.** Русская учебная хрестоматія. Для 3-го и 4-го годовъ обученія. Спб. 1907 г. 60 к.

30) **ШНИЦЛЕРЪ, А. Діалоги:** 1. Анатоль. — 2. Хороводъ. Переводъ съ нѣм. Изящное изданіе, съ рисункомъ на обложкѣ, исполненномъ въ краскахъ. Спб. 1907 г. 1 р.

31) **ЩАПОВЪ, А. П. Сочиненія.** Въ трехъ томахъ. Томъ I, съ портретомъ Щапова, исполненнымъ фототипіей, 800 стран. 3 руб. — Томъ II, 2 р. 50 к. — Томъ III (печатается) **(№ 20 Ист. Отд.).**

Печатаются и вскорѣ поступятъ въ продажу:

1) **БЕРТРАНЪ, Ж. Дифференціальное исчисленіе.** 2-ой выпускъ.

2) **ВЕСТЕРМАРКЪ, Э., проф. Происхожденіе и развитіе нравственныхъ идей.** Переводъ подъ ред. проф. *И. В. Лучицкаго.*

3) **ГАРНАКЪ, А. Сущность христіанства.**

4) **Общественныя движенія въ Россіи въ XIX в.** Томъ II.

5) **СОМОВЪ, І. Аналитическая геометрія 2 и 3 измѣреній,** 2-ое пересмотрѣнное изданіе.

6) **ТРАЧЕВСКІЙ А. С., проф. Новая исторія** (была истреблена цензурою до выхода въ свѣтъ).

7) **ТЭНЪ, И. Происхожденіе современной Франціи.** Въ переводѣ *Германа Лопатина* и *Е. В. Святловскаго.*

Выписывающіе изъ Склада за пересылку не платятъ.— Каталогъ высылается за 7-микоп. марку по первому требованію.

0-10

М. В. ПИРОЖКОВЪ

ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

„ЛИТЕРАТУРНАЯ КНИЖНАЯ ЛАВКА“

(Спб., В. О., Большой пр., 6)

„ТРИЛОГІЯ“ Д. С. Мережковскаго

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

„ХРИСТОСЪ и АНТИХРИСТЪ“,

состоящая изъ трехъ частей:

1) **Смерть боговъ** (Юліанъ Отступникъ),
2) **Воскресшіе боги** (Леонардо да-Винчи),
3) **Антихристъ** (Петръ и Алексѣй).

Цѣна I-ой части въ простомъ изданіи 1 р. 25 к., въ изящномъ—2 р.

„ II-ой „ „ „ 2 р. 50 к., „ 3 р. 50 к.

„ III-ей „ „ „ 2 „ — „ 3 р.

Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина. Екатерин. кан. № 71—6.